



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ЗОЩЕНКО

ПРЕЛЕСТИ КУЛЬТУРЫ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Михаил Михайлович Зощенко
Прелести культуры (сборник)
Серия «Эксклюзив: Русская классика»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21121164
Прелести культуры: [сборник]: АСТ; Москва; 2016
ISBN 978-5-17-097312-5*

Аннотация

В этом сборнике представлены лучшие юмористические рассказы Михаила Зощенко: «Аристократка», «На живца», «Честный гражданин», «Баня», «Нервные люди», «Прелести культуры» и др. Почти сто лет прошло, а мы все равно смеемся, когда читаем эти новеллы. Мы часто цитируем их, подчас забывая, что цитата принадлежит перу Зощенко – его афоризмы и крылатые выражения уже стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Содержание

Война	6
1	6
2	9
3	11
4	14
5	16
6	18
7	20
Исповедь	22
Беда	25
На живца	31
Богатая жизнь	35
Жертва революции	40
Аристократка	45
Стакан	50
Собачий нюх	54
Собачий случай	57
Брак по расчету	60
Неизвестный друг	65
Агитатор	69
Баба	72
Любовь	75
Жених	79

Счастье	84
Не надо иметь родственников	89
Крестьянский самородок	93
Честный гражданин	97
Игра природы	100
Пациентка	103
Баня	108
Нервные люди	112
Хозрасчет	116
Паутина	120
Альфонс	126
Актер	131
Кризис	135
Бедность	139
Административный восторг	142
Конец ознакомительного фрагмента.	145

Михаил Михайлович
Зощенко
Прелести культуры
Рассказы

© М. М. Зощенко, наследники, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Война

1

До станции Кривые Горки третья рота мигом доехала – экстра. А на станции Кривые Горки слух прошел, дескать, не по правилу едем: положено приказом, кто на фронт – денежки вперед за два месяца. Ладно. Отдай денежки. Фунт хлеба и денежки – урожай не урожай.

А тут еще Федюшка Лохматкин – оптик по всем делам.
– Верно, – говорит, – положено это наивысшим начальством.

А с кого требовать? Начальство все впереди, а полуротный Овчинкин – шляпа и сам не в курсе.

Ладно. Нельзя ехать.

На станцию вышли. Кучками бродят. Торговлишка завязалась кой-какая. Только видят: стоит баба у звонка, веревку держит и очень грустно плачет. Тут же и военный с ружьем на нее насккивает.

– Прошу, – говорит, – честью, баба, отойди от колокола. Убью на месте! Звонить нужно, потому поезд пассажирский...

А баба ему такое:

– Не отойду, кормилец, от колокола. Убей ружьем, Христа

ради... Отдай лисью шубу, пять фунтов масла!

А Федюшка уже тут. Народ растолкал ручкой.

– Чего, – говорит, – тут такое приключилось?

Баба слезой давится. Баба очень слезой давится.

– Так и так, – говорит, – отряд заградительный лисью шубу... Зачем, мол, тебе, баба, шуба? Это, дескать, спекуляция.

– Не по правилу это... – сказала толпа.

А тут еще с четвертого взвода – Ерш по фамилии.

– Фу-ты, – говорит, – братцы, товарищ Федя, да отдадим бабе шубу!

Тут все заговорили очень.

– Живут, – говорят, – одни великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости. А шуба – вещь и стоит немалых денег.

Великий шум поднялся. А на шум – отряд заградительный, двенадцать человек, ружье к ружью.

– Разойдитесь, – кричат, – по мере возможности! Зачем такое немыслимое скопление?

Слово за слово. Это, дескать, не по правилу, товарищи – шуба, пять фунтов масла.

Иные уже и винтовочки схватили, серьезно затворами щелкают, а Ерш и пулемет с лентами выкатил.

Отряд в двенадцать человек – в цепь и к лесу. Не иначе как окопаются на опушке. Смешно!

А народу все больше да больше. К цейхгаузу товарищи. Дверь ружьишком разбили. Добра там видимо-невидимо!

Баба тут взвизгнула очень тонко:

– Вон она, лисья шуба, пять фунтов масла!

А у самой каждое слово слезой омыто.

– Не по правилу это, – решили люди, осматривая лисью шубу. – Очень это не по правилу.

А тут вдруг Ерш бочонок в темном углу нашел. Рукой он по бочонку похлопывает, а сам такое:

– Фу-ты, братцы, а ведь это же масло.

– Совершеннейшее масло, – сказали люди, выкатывая бочонок из цейхгауза. – Совершеннейшее масло. Одни живут великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости.

А Ерш все рукой по бочонку.

– Именно, – говорит, – великолепное масло. И какая может быть война? И какой государственный масштаб?

Тут все закричали сразу:

– Не нужно денег, если так... Без денег поедem, братцы, – экстра...

А очень великолепно жить в провинции. В столицах полная нехватка хлеба, а, скажем, в Устюге каждый, даже маломочный, с огорода изрядный достаток имеет. Да и что с огорода!

Председатель исполкома кур разводит, член тройки тоже кур разводит, доктор Гоглазов – кур, а комендант станции кролиководством занят.

Чудак необыкновенный – этот комендант станции. Всегда он на высоте положения. Огороды его уже на версту раскинулись. Кролики у него во множестве плодятся. Мирное ему житье.

Только нынче нехорошая штука с ним вышла. Не удался день. С утра не удался день. С утра свиньи грядку турнепса пожрали. Хорошо, если его свиньи – к жиру, а если, скажем, Ипатовых...

На станцию комендант серьезным пришел. А тут еще барышня с бантом телеграмму сует – дескать, срочно и секретной важности.

Телеграмму прочел комендант – телом затрясся.

«...белогвардейцы и мятежники. Поезд 433... Разоружить. Бочонок масла...»

«Гм! Штука... Свиньи турнепс пожрали... Штука!»

– Алло, исполком... Срочно и секретной важности... Так,

мол, и так и, пожалуйста, соответствующие меры...

«Гм! Штука... Мои – так к жиру, но Ипатовы, как пить дать Ипатовы».

Комендант станции и председатель исполкома на высоте положения. И к полудню на всех заборах листовки наклеены.

Дивятся очень прохожие. Что ж это, граждане? Листок...

На заборе театральная афиша – столичная труппа «Променад». Великолепные знаменитости.

Пониже корявая бумажка, и на ней: «Настоящая персидская оттоманка за полцены, с разрешения жилищной комиссии».

А рядом листок – и крупней крупного:

«Военное положение. Ходить до семи. Жиров полфунта... Белогвардейцы и мятежники...»

Штука! Как же так, граждане? Смешно – до семи. Если, скажем, секретарь исполкома, товарищ Бычков, в девять любовное свидание назначил. Любовная у него интрига с лета-месяца. А он в девять на Урицком мосту. Урицкий мост аж за тюрьму, в конец города. Гм! Смешно – до семи, если доктор Гоглазов... Тьфу ты, бес! А комендант-то, комендант-то как же с огородом?

Гм! Штука.

Председатель исполкома Петр Стульба с балкона слова лепит:

– Белогвардейцы и мятежники... Разоружить... Притянуть... Поезд 43... Бочонок масла...

Очень хорошо и длинно говорит председатель исполкома... Лепит – говорит, а сам руку этак вот, за пояс. Для истории. Иные так за борт или, скажем, – смешно даже – в карман, а Петр Стульба – за пояс.

– Позор! – сказал отряд матросов особого назначения и ряды вздвоил.

Котелки за спиной звякнули. Перемигнулись штыки с солнцем.

Напряглись клячонки. Клячонки-то очень напряглись – смотреть жалко. Еще бы – пушка трехдюймовая, пушкино дуло больше лошади.

Пушку эту у вокзала поставили дулом вдаль. Клячонок распрягли – нехай пасутся. А сами – в цепь.

Поезд едва до вокзала дошел – закричали как, задвигались матросы.

– Оружие! Оружие, сукины дети, кладите!

Дивится очень третья рота. Из теплушек лезет. А впереди Ерш из четвертого взвода выюном вьется и всех подначивает:

– Не покоримся, братцы! Немыслимо положить оружие.

Выкатим, братцы, товарищ Федя, пулемет, да и, пожалуйста, стрельнем, жажахнем по клёшникам!

И стрельнули бы (живут одни великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости), да Федюшка тут выступил.

Ручки сложил на желудок, дескать, делегат и нету у него оружия, выступил.

– Совершенно, – говорит, – правое дело, товарищи. Можно ли подобное: лисья шуба, пять фунтов масла...

– Как? – подошли ближе матросы, – лисья шуба и масло?

– Да. Лисья шуба, пять фунтов масла.

– Как? – сказал комендант, высовываясь из окна, – пять фунтов масла?... Алло, исполком! Срочно и секретной важности...

– Как? – сказал председатель Стульба, вытаскивая руку из-за пояса, – турнепс, пять фунтов масла?

А Федюша – оптик по всем делам – говорит, землю роет. И даст же Бог такой словесный дар!

– Шуба, – говорит, – и масло. Можно ли подобное? А революции, мол, все очень даже преданны и даже иностранный капитал идут бить с радостью в сердцах. Бочонок же – будь он проклят! – был грех. Однако государственный масштаб и бочонок масла – смешно.

Тут матросы заговорили.

– Очень, – говорят, – вы великолепно сделали, братишки. Очень даже мы любимся вами.

А сами-то трех клешников к пушке засылают. Дескать,

неловко. Дескать, запрячь клячонок, клячонок-то поскорей запрячь, а пока пушкино дуло в сторону. Уж очень правильное дело – нельзя.

Поговорили еще матросы, звякнули котелками, расправили клеши и – к дому.

А Федюшка гоголем ходит.

Полуротного Овчинкина совсем заслонил.

Прямо-таки забил полуротного Овчинкина.

Овчинкин даже с голосу спал – чай сидит пьет, а Федюшка командует.

– Садись, – кричит, – третья геройская по вагонам! Едем на позицию полячишек бить!

А через три больших станции и с поезда сошли. По целине тут тридцать верст – и позиция.

Кишкой растянута рота по шоссе. А впереди Овчинкин. Овчинкин компасом покрутит, на карту взглянет и прет без ошибки, что по Невскому.

Вскоре в деревню в большую пришли. На ночь по трое в хату расположились. Федюша и Ерш наилучший дом заняли, а с ними и Илья Ильич – ротная интеллигенция.

А в доме том американка жила. Очень прекрасная из себя. Русская, но в прошлом году из Америки вернулась.

Расположились трое, картошку кушают, а Ерш все свою линию ведет.

– И какая, – говорит, – братцы, товарищ Федя, война? И какой государственный масштаб? В лесок бы теперь, в земляночку. А в земляночке – лежишь, куришь...

Но Федюша не слушает – глазом разговаривает с американкой.

Американка рукой по бедрам, Федюша глазом, – дескать, хороша, точно хороша. Американка плечиком, – дескать, хороша Маша, да не ваша... Федюша глазом соответствует.

И час не прошел, а Федюша уж, как Хедив-паша, с американкой на печи сидят.

Ерш внизу мелким бесом, а сам Илье Ильичу тихонечко:

– Скалзубая. И какой в ней толк? Зубами, гадина, целуется... А уж и сердцегрыз Федюша наш! Но только доведет, достукает его любовь-баба... А тут война. И какая теперь может быть война?... В земляночку бы теперь... Свобода...

Вот и господин Илья Ильич – интеллигенция ротная, а как бы сказать, совершенно грустный из себя. А отчего грустный? Война. Человеку жить нужно, а тут война. Несоответствие причин.

– Да, – сказал Илья Ильич. – А ведь и точно плохо. А главное, радости никакой. И почему так? Что такое со мной произошло?...

Поднял голову Илья Ильич, смотрит: Федюша с печки вниз спускается.

– Ох, – говорит Федюша, – загрызла меня, братцы, американка. До того загрызла, что и слов нет. Сосет в груди. Остаться нужно. Эх, кабы день-два! Эх, мать честная, все пропадет! Останусь. А ведь останусь, братцы. Будь что будет! Не отступлюсь от ней.

Радуетса Ерш, лицо – улыбка.

– Да ну?

– Да. Останусь. Сама американка присоветовала. «Оставайтесь, – говорит, – винтовочки спрячу, вас – в овин до утра, а утром, коли начальство поинтересуется, скажу: ушли».

Ладно.

Американка фонарем светила, Федюша рядом под локо-ток, а Ерш и ротная интеллигенция сзади.

– Здесь, – засов отодвинула американка. – Сюда заходите. И ни Боже мой, покуда не позову.

– Ладно.

Очень скверно в лицо пахнуло. А ведь что ж?

По доброй воле. Сели у стенки. Гм! Запах.

А у Ерша счастье на лице.

– Дальше-то что? – улыбается, – дальше-то, братцы, товарищ Федя, что? Ведь и государственный масштаб теперь к черту!.. А дальше-то не иначе как в лес. Дальше-то прямая дорожка в лес. Да только пугаться нечего – прокормимся, как еще прокормимся! А то, скажем, на почтовых... Такой-этакий... с деньгами... сто тысяч... С провизией... и девочка с ним... черная, красивенькая, кудряшечки этакие... Стой-постой! Откуда есть такой? Тут и стукнуть по черепу. И концы в воду. И лошади себе. И повозку себе...

– Да, – сказал Федюша, – а и шельма же она, братцы! Страсть люблю таких! «И ты, – говорит, – мне очень нравишься, Федюша. Больше жизни. Да только зачем нам жизни свои зря спутывать? Ты голый, соколик, да и у меня по пятьсот две думских да кольцо дареное...»

– Плохо, – вдруг испугался Илья Ильич, – это что ж?

Выходит, что в разбойники? Опять несоответствие причин. Гм... Дурак Ерш, а сказал каково хорошо: несоответствие причин! Но как все плохо. Даже если и в Питер сейчас, и то плохо. Здесь в навозе, да и там в навозе, на Малой Охте. На Малой Охте! И почему такое? Мог бы и в городе жить, а живу, черт знает, на Малой Охте. И ведь непременно у ветеринарного фельдшера Цыганкова. Хе-хе... И пустяки, что жизнь дрянь. Жизнь дрянь, но в гадости-то скорее радость найдешь. В грязи-то и всем хоть немножко, хоть чуть-чуть, да приятно. Чужую грязь мы не любим, а в своей – великое наслаждение. Вот знаю, а все плохо. А плохо-то в себе. Особое, может, неважное пищеварение, что ли... Что ж? В разбойники нужно... Хе-хе... Прямая дорожка.

– Прямая дорожка в лес, братцы, товарищ Федя, – бормотал Ерш, засыпая. – Говорят, объявилась атаманша-разбойница. Геройской жизни. Грабит, поезда останавливает.

«В разбойники, – думал Илья Ильич, закрывая глаза. – И что меня удержит? Россия... Гм... Может, России-то уже нет, да и русских нет. То есть, конечно, есть, да живут ли они? Может быть, все как я, может быть, у всех – великое „все равно“...»

Под утро заснули трое и видели сны.

Уже и солнце проткнуло все щели в овине, а Ерш спит – раскинулся, лицо – улыбка, сам в золотых полосах, будто зебра.

А Федюша все в щель смотрит. Да только тихо на дворе: куры ходят, вон свинья у самого носа хрюкнула, а больше никого не видать. И что за причина такая?

Ротная интеллигенция тоже в щель – ничего. Ерш проснулся.

– Фу-ты, – говорит, – братцы, а ведь кушать-жрать хочется.

Только видит Федя: старуха на крыльцо мотнулась.

– Тс... – цыкает ей Федя, – ты, чертова старуха! Гм... Притча. Не слышит, чертова бабка, сук ей в нос!

Просидели час. Тихо.

Заспалась, должно быть, Маруся-американочка. Еще час просидели. Федюша начал засов ножом ковырять.

Ножом отодвинул засов.

– Сейчас, – говорит, – братцы.

И сам по двору тенью.

Только прибегает обратно – глаза круглые и сам не в себе очень.

– Нету, – говорит, – американки. Ушла чертова Маруся. С полуротным с Овчинкиным вовсе ушла. Сама старуха –

сук ей в нос! – призналась. Дескать, полуротный Овчинкин к вечеру вестового засылал, а к ночи и сам в гости пожаловал. Жрали, – говорит, – очень даже много, и все жирное, и спать легли вместе. А утром полуротный из дому, и Маруська с ним. Вовсе ушла чертова Маруська! Что ж теперь? Гроб.

Вышли на двор. Ушла, мать честная, и следов нет.

Посмотрел Федя на солнце, на дорогу посмотрел. И куда ушла? В какую сторону? Без компаса никак нельзя узнать.

– Эх, испортила американка жизнь! Угробила, чертова Маруська! Очень даже грустно сложились обстоятельства.

Посмотрел Федя Лохматкин на Марусин дом – сосет в сердце.

«Красавица!» – подумал.

В окно глянул, а в окне старухин нос.

– Тьфу ты, мерзкая старуха, до чего скверно смотреть!

А тут Ерш, лицо – улыбка.

– Что ж, – говорит, – братцы, товарищ Федя, – судьба. И какая там война? И какой государственный масштаб? В лесок уйдем. Прямая дорожка без компаса.

И трое зашагали в лес.

Бродили в лесу до вечера. А вечером повис над болотом серый туман, и тогда все показалось бесовским наваждением.

Огонь развели веселый, но было невесело. До утра просидели очень даже грустные, а утром дальше пошли. Прошли немного – верст пять, и вдруг закричал Ерш:

– Едут!

Верно. Вдали негромко звенели бубенцы.

– Едут! – застонал Ерш. – Тащите же бревно, сук вам в нос!

Но никто не двигался.

А у Ерша паучьи руки – очень ему трудно из канавы бревно тащить.

Однако тотчас выволок бревно это и накатил на дорогу.

Били железом по камню лошади, и за поворотом показалась желтая повозка с седоком.

– Стой! – закричал Ерш. – Идем же, братцы, товарищ Федя!

– Стой, постой! – повторил Ерш и вытащил нож, подбегая.

– А-а!.. – дико закричал седок.

Во весь рост встал. Трясется челюсть. В руке револьвер. Вздروгнули лошади, лес ахнул тихонечко.

– Братцы, – тонко закричал Ерш, – так нельзя! Он револь-

вером... — И хотел к лесу. Но упал лицом в грязь и затих.

Выстрелил два раза седок. Железом бешено забили лошади, и скрылась желтая повозка.

А на бревне сидел Илья Ильич и тоскливо смотрел на Федюшку. За Федюшкой — красный след. Федюшке трудно ползти.

1921

Исповедь

На Страстной неделе бабка Фекла сильно разорилась – купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.

Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.

Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие свои мелкие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и кряхтя, пошла к исповеди.

Исповедь происходила у алтаря за ширмой.

Бабка Фекла встала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать. За ширмой долго не задерживали.

Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.

«Торопится поп, – подумала Фекла. – И чего торопится. Не по пожар ведь. Неблаголепно ведет исповедь».

Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и припала к ручке.

– Как звать-то? – спросил поп, благословляя.

– Феклой зовут.

– Ну, рассказывай, Фекла, – сказал поп, – какие грехи? В чем грешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к Богу прибегаешь?

– Грешна, батюшка, конечно, – сказала Фекла, кланяясь.

– Бог простит, – сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью. – В Бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?

– В Бога-то верую, – сказала Фекла. – Сын-то, конечно, приходит, например, выражается, осуждает, одним словом. А я-то верую.

– Это хорошо, матка, – сказал поп. – Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?

– Осуждает, – сказала Фекла. – Это, говорит, пустяки – ихняя вера. Нету, говорит, не существует Бога, хоть все небо и облака общи...

– Бог есть, – строго сказал поп. – Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорил?

– Да разное говорил.

– Разное! – сердито сказал поп. – А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если Бога-то нет? Сын-то ничего такого не говорил, откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это? Припомни – не говорил он об этом? Дескать, все это химия, а?

– Не говорил, – сказала Фекла, моргая глазами.

– А может, и химия, – задумчиво сказал поп. – Может, матка, конечно, и Бога нету – химия все...

Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот поло-

жил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.

– Ну иди, иди, – уныло сказал поп. – Не задерживай верующих.

Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая. Потом подошла к своему угодничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви.

1923

Беда

Егор Иваныч, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прудки, два года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой и вкус в нем. То есть как ножом отрезало – не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Очень уж ему нужна была лошадь.

«Вот куплю, – думал, – лошадь и клюкну тогда. Будьте покойны».

Два года копил мужик деньги и на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь.

А перед самым уходом явился к Егору Иванычу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иваныч предложение это отклонил. И даже испугался.

– Что ты, батюшка! – сказал он. – Я два года солому жрал – ожидал покупки. А тут накося – купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет... Нет, не пугай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

И вот Егор Иваныч собрался. Завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел.

А на базаре Егор Иваныч тотчас облюбовал себе лошадь. Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масти она была неопределенной – вроде су-

хой глины с навозом.

Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь.

Егор Иваныч повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал:

– Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь ай нет?

– Лошадь-то? – небрежно спросил торговец. – Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю.

Егор Иваныч тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя:

– Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, три года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь... А какая между тем цена будет этой твоей лошади? Только делом говори.

Торговец сказал цену, а Егор Иваныч, зная, что цена эта не настоящая и сказана, по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь. Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, вилял головой перед самой лошадиной мордой и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егор Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, Егор Иваныч снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал:

– Продается, значит. . . лошадь-то?

– Можно продать, – сказал торговец, несколько обижаясь.

– Так . . . А какая ей цена-то будет? Лошади-то?

Торговец сказал цену, и тут начался торг.

Егор Иваныч хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он шесть лет лопал солому и что ему до зарезу нужна лошадь, – торговец сбавлял цену понемногу. Наконец в цене сошлись.

– Бери уж, ладно, – сказал торговец. – Хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.

– Цвет-то . . . Сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвету, – сказал Егор Иваныч. – Неинтересный цвет . . . Сбавь немного.

– А на что тебе цвет? – сказал торговец. – Тебе что, пахать цветом-то?

Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку наземь, задавил ее ногой и крикнул:

– Пушай уж, ладно!

Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на вы:

– Ваша лошадь... Ведите...

И Егор Иванович повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча:

– Купил!.. Лошадь-то... Мать честная... Опутал его... Торговца-то...

Когда восторг немного утих, Егор Иванович, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо.

«Хоть бы землячка для сочувствия... Хоть бы мне землячка встретить», – подумал Егор Иванович.

И вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни.

– Кум! – закричал Егор Иванович. – Кум, подикось поскорей сюда!

Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.

– Вот... Лошадь я, этово, купил! – сказал Егор Иванович.

– Лошадь, – сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил: – Стало быть, не было у тебя лошади?

– В том-то и дело, милый, – сказал Егор Иванович, – не бы-

ло у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться...
Пойдем, я желаю тебя угостить.

– Вспрыснуть, значит? – спросил земляк, улыбаясь. –
Можно. Что можно, то можно. В «Ягодку», что ли?

Егор Иванович качнул головой, хлопнул себя по голенищу
и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди.

Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иванович
возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный муж-
жик провожал Егор Ивановича до немецкой слободы.

– Ты не горюй, – говорил мужик. – Не было у тебя лошади,
да и эта не лошадь. Ну, пропил – эка штука. Зато, браток,
вспрыснул. Есть что вспомнить.

Егор Иванович шел молча, сплевывая длинную желтую слю-
ну.

И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться,
Егор Иванович сказал тихо:

– А я, милый, два года солому лопал... зря...

Земляк сердито махнул рукой и пошел назад.

– Стой! – закричал вдруг Егор Иванович страшным голо-
сом. – Стой! Дядя... милый!

– Чего надо? – строго спросил мужик.

– Дядя... милый... братишка, – сказал Егор Иванович, мор-
гая ресницами. – Как же это? Два года ведь солому зря ло-
пал... За какое самое... За какое самое это... вином торгу-
ют?

Земляк махнул рукой и пошел в город.

1923

На живца

В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне.

Народ там более добродушный подбирается.

В переднем вагоне скучно и хмуро, и на ногу никому не наступи. А в прицепке, не говоря уже о ногах, много привольней и веселей.

Иногда там пассажиры разговаривают между собой на отвлеченные философские темы – о честности, например, или о заработной плате. Иногда же случаются и приключения.

На днях ехал я в четвертом номере.

Вот два гражданина против меня. Один с пилой. Другой с пивной бутылкой. Бутылка пустая. Держит человек бутылку в руках и пальцами по ней щелкает. А то к глазу поднесет и глядит на пассажиров через зеленое стекло.

Рядом со мной – гражданка в теплом платке. Сидит она вроде сильно уставшая или больная. И даже глаза по временам закрывает. А рядом с гражданкой – пакет. Этакий в газету завернут и бечевкой перевязан.

И лежит этот пакет не совсем рядом с гражданкой, а несколько поодаль. Гражданка иногда косо на него поглядывает.

– Мамаша! – говорю я гражданке. – Гляди, пакет унесут. Убери на колени.

Гражданка сердито посмотрела на меня, сделала таин-

ственный знак рукой и, приложив палец к своим губам, снова закрыла глаза.

Потом опять с сильным неудовольствием посмотрела на меня и сказала:

– Сбил ты меня с плану, черт такой...

Я хотел было обидеться, но гражданка язвительно добавила:

– А может, я нарочно пакет этот отложила. Что тогда? Может, я и не сплю, а все как есть вижу и нарочно глаза прикрываю?...

– То есть как? – удивился я.

– Как, как... – передразнила гражданка. – Может, я вора на этот пакет хочу поймать...

Пассажиры стали прислушиваться к нашему разговору.

– А чего в пакете-то? – деловито спросил человек с бутылкой.

– Да я же и говорю, – сказала гражданка. – Может, я нарочно туда костей-тряпок напихала... Потому – вор не разбирается, чего в нем. А берет, что под руку попадет... Знаю я, не спорьте. Я, может, с неделю так езжу...

– И что же – попадают? – с любопытством спросил кто-то.

– А то как же, – воодушевилась гражданка. – Обязательно попадают... Давеча дамочка вкапалась... Молоденькая такая, хорошенькая из себя. Черненькая брунеточка... Гляжу я – вертится эта дамочка. После цоп пакет и идет... А-а-а, говорю, вкапалась, подлюга...

— С трамвая их, воров-то, скидывать надоть! — сказал сердито человек с пилой.

— Это ни к чему — с трамвая, — вмешался кто-то. — В милицию надо доставлять.

— Конечно, в милицию, — сказала гражданка. — Обязательно в милицию... А то еще другой вкапался... Мужчина, славный такой, добродушный... Тоже вкапался. Взял прежде пакет и держит. Привыкает. Будто свой. А я молчу. И в сторону будто гляжу. А он после встает себе и идет тихонько... А-а, говорю, товарищ, вкапался, гадюка...

— На живца, значит, ловишь-то? — усмехнулся человек с бутылкой. — И многие попадают?

— Да я же и говорю, — сказала гражданка, — попадают.

Она заморгала глазами, глянула в окно, засуетилась и пошла к выходу.

И, уходя из вагона, она сердито посмотрела на меня и снова сказала:

— Сбил ты меня с плану, черт такой! Начал каркать на весь вагон. Теперь, ясно, никто на пакет не позарится. Вот и схожу раньше времени.

Тут кто-то с удивлением произнес, когда она ушла:

— И зачем ей это, братцы мои? Или она хочет воровство искоренить?

Другой пассажир, усмехнувшись, ответил:

— Да нет, ей просто охота, чтоб все люди вокруг воровали. Человек с пилой сердито сказал:

– Вот какие бывают дьявольские старухи, воспитанные прежним режимом!

1923

Богатая жизнь

Кустарь Илья Иваныч Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом.

Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал:

– Ну и ну... Ну и штука... Да что же это, братцы?...

Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.

Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.

– Ну, что ж теперь делать-то будешь? – спрашивал я. – Чего покупать намерен?

– Да чего-нибудь куплю, – говорил Спиридонов. – Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства... Штаны, конечно...

Илья Иваныч получил наконец из банка целую грудку новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере он не заходил ко мне более двух месяцев.

Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.

Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иванович ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.

Сам Илья Иванович очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами.

– Ну, как? – спросил я.

– Да что ж, – уныло сказал Спиридонов. – Живем. Дровец, конечно, купил... А так-то, конечно, скучновато.

– С чего бы?

Илья Иванович махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иванович сказал:

– Вот все говорят: буржуи, буржуи... Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом... А чего в этом хорошего?

– А что?

– Да как же, – сказал Спиридонов. – Нуте-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины, – со всеми расплевался. Поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет. Это, скажем, два... Жена, супруга то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет... Это, скажем, три... Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали,

но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо – дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен. Следить надо.

Илья Иванович с отчаянием махнул рукой.

– Чего же ты теперь делать-то будешь? – спросил я.

– А я не знаю, – сказал Илья Иванович. – Прямо хоть в петлю... Я как в первый день получил деньги, так все и началось, все несчастья... То жил спокойно и безмятежно, то повезло со всех концов.

А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что неладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех стульях. Поздравляют. Я, конечно, дал каждому для потехи по два рубля.

А Мишка, женин братишка, наиболее колбасится.

– Довольно, – говорит, – стыдно по два рубля отваливать, когда, – говорит, – капиталец есть.

Ну, слово за слово, руками по столу – драка. Кто кого бьет – неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел.

Ну, расплевался я с родственниками. Стал так жить.

Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил, пшена на два года. Стал думать, куда еще деньги приспособить. Смотрю – жена по хозяйству трется, ни отдыха ей, ни сроку.

«Не дело, – думаю. – Хоть и баба она, а все-таки равно-

правная баба. Стоп, – думаю. – Возьму, – думаю, – ей в помощь небольшую девчонку. Пущай девчонка продукты стряпает».

Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена, на досуге, сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться, и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла... Вообще полезла ей в голову полная ерунда от делать нечего.

Дал я, конечно, супруге денег.

– Сходи, – говорю, – хотя бы в клуб или в театр. Я бы, – говорю, – и сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо.

Ну, поплакала баба – пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет – на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает.

А после председатель заходит и говорит:

– Ты, – говорит, – что ж это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, – говорит, – девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, – говорит, – на тебя в народный суд подам, даром что ты деньги выиграл...

Илья Иваныч снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал.

– Плохо, – сказал я.

– Еще бы не плохо, – оживился Илья Иваныч. – Сиж, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова

у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут... А у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет – боится под суд идти... Мишка, женин брат, наверное, вокруг квартиры колбасится – влезть хочет... Эх, лучше бы мне и денег этих не выигрывать!

Илья Иванович расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощанье, но он вдруг спросил:

– А чего это самое... Розыгрыш-то новый скоро ли будет? Тысчонку бы мне, этово, неплохо выиграть для ровного счета...

Илья Иванович одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.

1923

Жертва революции

Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

– Заживают, – с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. – Ничего не поделаешь – седьмой год все-таки пошел.

– А что это? – спросил я.

– Это? – сказал Ефим Григорьевич. – Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну, а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврнут... Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой – я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

– Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так, чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив – я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы

бывшего графа Орешина не знали?

– Нет.

– Ну, так вот... У этого графа я и служил. В полотерах... Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать – только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

– Иди, – говорит, – кличут. У графа, – говорит, – кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.

Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу – и к ним. Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты. Гляжу – сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

– Ах, – говорит, – Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

– Что вы, – говорю, – что вы, бывшая графиня! На что, – говорю, – мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, – говорю. – Извините за выражение.

А она рыдает.

– Нет, – говорит, – не иначе, как вы сперли, комси-комса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

– Я, – говорит, – чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, – говорит, – это дело я так не оставлю. Руки, – говорит, – свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, – говорит, – отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу я день и два – пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг – на пятый день – как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, – думаю, – да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы это, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

– Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я – и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит... Ну, ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

– Чего тут происходит?

– А это, – говорят, – мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.

И вдруг вижу я – ведут. Бывшего графа ведут в мотор, растолкал я народ, кричу:

– В кувшинчике, – кричу, – часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.

«Ну, – думаю, – есть одна жертва».

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:

– Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит, – тоже. Да еще издевает-

ся: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод – хозяйский.

1923

Аристократка

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:

– Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

– Откуда, – говорю, – ты, гражданка? Из какого номера?

– Я, – говорит, – из седьмого.

– Пожалуйста, – говорю, – живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

– Да, – отвечает, – действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц – привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше – больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать – не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне и говорит:

– Что вы, – говорит, – меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, – говорит, – как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

– Можно, – говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой – внизу сидеть, а который Васькин – аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я – на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу – антракт. А она в антракте ходит.

– Здравствуйте, – говорю.

– Здравствуйте.

– Интересно, – говорю, – действует ли тут водопровод?

– Не знаю, – говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным व्यось во-

круг ее и предлагаю:

– Ежели, – говорю, – вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

– Мерси, – говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня – кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег – с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крикнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

– Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

– Нет.

И берет третье.

Я говорю:

– Натощак – не много ли? Может вытошнить.

А она:

– Нет, – говорит, – мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

– Ложи, – говорю, – взад!

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

– Ложи, – говорю, – к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

– Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно – ваньку валяет.

– С вас, – говорит, – за скушанные четыре штуки столько-то.

– Как, – говорю, – за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

– Нету, – отвечает, – хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

– Как, – говорю, – надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно – перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят – надкус сделан, другие – нету. А я вывернул карманы – всякое, конечно, барахло на пол вывалилось – народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги – в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

– Докушайте, – говорю, – гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

– Давай, – говорят, – я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

– Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег

– не ездют с дамами.

А я говорю:

– Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выраже-

ние.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

1923

Стакан

Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила.

– Приходите, – говорит, – помянуть дорогого покойника чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас, – говорит, – не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте, сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.

Я говорю:

– В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, – говорю, – добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

– Ну, – говорит, – приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать, – шваброй малость отзывает. И взял я стакашек

и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

– Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

– Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

– То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

– Это, – говорит, – чистое разорение в хозяйстве – стаканы бить. Это, – говорит, – один – стакан тюкнет, другой – крантик у самовара начисто оторвет, третий – салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

– Об чем, – говорит, – речь. Таким, – говорит, – гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

– Мне, – говорю, – товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, – говорю, – товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, –

говоря, — чай у вас шваброй пахнет. Тоже, — говоря, — приглашение. Вам, — говоря, — чертям, три стакана и одну кружку разбить — и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот. Деверь наиболее других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

— У меня, — говорит, — привычки такой нету — швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, — говорит, — Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я, — говорит, — щучий сын, не оставлю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говоря:

— Тьфу на всех, и на деверя, — говоря, — тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

— Нынче, — говорит, — все суды такими делами закрючены, а тут еще, не угодно ли. Платите, — говорит, — этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.

Я говоря:

— Я платить не отказываюсь, а только пушай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

– Подавись этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

– Передай, – говорю, – своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой зайдет, – я могу до трибунала дойти.

1923

Собачий нюх

У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.

Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.

– Шуба-то, – говорит, – больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.

И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища – коричневая, морда острая и несимпатичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону – и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пускает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

– Да, – говорит, – попалась. Не отпираюсь. И, – говорит, – пять ведер закваски – это так. И аппарат это действительно верно. Все, – говорит, – находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

– А шуба? – спрашивают.

– Про шубу, – говорит, – ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное – это так. Ведите меня, казните.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.

Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.

Побелел управдом, упал навзничь.

– Вяжите, – говорит, – меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, – говорит, – за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.

– Виноват, – говорит, – виноват. Я, – говорит, – это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, – говорит, – жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.

«Что, – думает, – за такая поразительная собака?» А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.

– Уводи, – говорит, – свою собачищу к свиньям собачьим. Пушай, – говорит, – пропадает енотовая шуба. Пес с ней...

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает. Заблестел купец, побледнел.

— Ну, — говорит, — Бог правду видит, если так. Я, — говорит, — и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, — говорит, — братцы, не моя. Шубу-то, — говорит, — я у брата своего зажил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих — кто подвернулся — и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тукнул, третий такое сказал, что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.

— Кусайте, — говорит, — меня, гражданка. Я, — говорит, — на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру...

Чего было дальше — неизвестно. Я от греха поскорее смылся.

Собачий случай

Жил такой Вася Семечкин. Безработный. Уволили его по сокращению штатов, а он и в ус не дует.

– Пушай, – говорит, – буду-ка я человеком свободной профессии.

Стал он думать, чем ему промышлять, дровами или чем другим. Да случай вышел.

Проживал в четвертом номере всемирноученый старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над собаками. То пришьет им какую-либо кишку, то сыворотку привьет, то прививку холерную, а то и просто хвост отрежет и интересуется: может ли животное без хвоста жить. Одним словом, опыты.

Но однажды встретил всемирноученый старичок Ваську во дворе и говорит ему:

– Нет ли у вас какой-нибудь собачки для ученых опытов? Я, – говорит, – за каждую собачку плачу трешку.

Обрадовался Васька. Сразу смекнул.

– Есть, – говорит, – вы угадали. Это, – говорит, – даже моя специальность доставать опытных собачек. Пожалуйста. Завсегда ко мне обращайтесь.

Ударили они по рукам и разошлись.

Первая собачка пропала у управдома. Ужасно тогда грустил управдом. Накинул даже на квартиры и хотел на воду

накинуть, да были перевыборы – поперли его.

Вторая собачка исчезла в седьмом номере. И такая это была паршивенькая собачка, болонка – глаз у ней красный, отвратительный, шерсть висячая. Омерзительная собачка. И кусачая к тому же. У Васьки до сих пор шрам на руке.

Третью собачку Васька поймал на улице. А там и пошло, и пошло.

Только раз всемирноученый старичок сказал Ваське:

– Что ты, – говорит, – голубчик, мне все паршивеньких собак доставляешь? Нынче я опыт произвожу над предстательной железой, и нужна мне для этого собака особо крепкая, фигурная, чтоб хвост у ней был дыбом, чтоб она, стерва, бодрилась бы под ножом.

И вот пошел Васька с утра пораньше такую собаку искать. Прошел четыре квартала – нету. По пути только маленькую сучку в мешок пихнул.

Идет по Карповке, смотрит: стоит у тумбы этакая значительная собачища и воздух нюхает.

Обрадовался Васька. И верно: особо фигурная собака, бока гладкие, хвост трубой, и все время бодрится.

Подошел к ней Васька, хлеб сует.

– Собачка, собачка...

А она урчит и хвостом отмахивается. Начал Васька мешок развязывать, а она за руку его – тяп. И держит.

Васька рвется – не пускает. Народ стал собираться, публика. Вдруг кто-то говорит:

– Братцы, да это уголовная собака Трефка.

Как услышал это Васька, упал с испугу. Мешок выронил.

А из мешка сучка выпала.

– Ага! – закричал народ. – Да это, братцы, собачник. Хватай его!

Схватили Ваську и повели в милицию.

А после судили его. Оправдали все-таки. Во-первых, безработный, с голоду. Во-вторых, для науки.

– Впредь, – сказали, – не делай этого.

Стал с тех пор Васька дровами промышлять.

1923

Брак по расчету

– Раньше, граждане, было куда как проще, – сказал Григорий Иванович. – А которые женихи – тем все было как на ладони. Вот, скажем, невеста, вот ее мама, а вот приданое. А если приданое, то опять-таки какое это приданое: деньгами или, может быть, домик на фундаменте.

Ежели деньгами – благородный родитель объявляет сумму. А ежели домик на фундаменте, то опять-таки иная речь – какой это домик? Может, деревянный, а может, он и каменный. Все видно, все понятно, и нету никакой фальши.

Ну а теперь? Нуте-ка, сунься теперь, который жених – не разбери-бери! Потому что у теперешнего родителя привычки такой нет – давать деньгами. А которые женихи на имущество ориентируются, – еще того хуже.

Скажем, недвижимое имущество – висит шуба на вешалке. Ну, висит и висит. Месяц висит и два висит. Каждый день, например, ее можно видеть и руками щупать, а как до дела, то шубу эту, не угодно ли, комнатный жилец повесил и вовсе она не невестина. Или перина. Глядишь – перина, ляжешь на нее – она пером набита.

Вот вам и имущество! С таким имуществом крови больше испортишь.

Ах, чего только не делается на свете – не разбери-бери!
Я старый революционер с девятого года, во всех партиях

перебывал, и то у меня голова кругом, и не разбираюсь.

Только и есть одно – которые невесты служат. У тех без обмана: ставка, разряд, категория... Но и тут обмишуриться можно.

Мне вот понравилась одна. Перемигнулись. Познакомились. Тары да бары, где, говорю, служите, сколько получаете? Дескать, разряд ваш и ставка?

– Служу, – говорит, – на складе. Ставка такая-то.

– Ну, – говорю, – мерси и отлично. Вы, – говорю, – мне нравитесь. И разряд ваш симпатичный, и ставка ничего себе. Будем знакомы.

Стали мы с ней кинематографы посещать. Плачу я. Посещали неделю или две – ультиматум ей ставлю: вводите, говорю, в дом.

Ввела в дом. Ну, конечно, в доме старушка мамочка. Папашка – этакий старый революционер. Дочь – невеста, и при ней я – жених вроде бы.

Дальше – больше. Хожу к ним в гости и приглядываюсь. С мамашей на философские темы разговариваю: дескать, как им живется, не туго ли? Не придется ли, оборони Создатель, помогать?

– Нет, – отвечает, – насчет помощи нам не надо. А что до приданого, не совру, – приданого нету. Хотя белишко и полдюжины ложек можно отсыпать.

– Ах, – говорю, – старушка, божий цветочек! Полдюжины или вся дюжина – там видно будет. Стоит ли об этом го-

ворить раньше времени. Мне, – говорю, – ваша дочка и так нравится – все-таки разряд пятнадцатый, льготы, талоны... Это мне вроде бы приданое.

Ну, старушка, божий цветочек, – в слезы. И папочка, старый революционер, прослезился.

– Что ж, – говорит, – женись, милый, если так.

Ну, обручение. Разговоры. Вздохи.

А старушка, божий цветочек, насчет церкви намекает. Не плохо бы, дескать, в церкви окрутиться.

А я говорю:

– Окрутимся и так. Я, – говорю, – старый революционер. Не дожидаясь чистки, ушел из партии. Не могу идти против своей совести. Не настаивайте.

Поплакала старушка. И папаша, старый революционер, прослезился. Однако соглашаются.

Женились мы.

По утрам молодая, красивая супруга отбывает на службу, а в четыре – назад возвращается. А в руках у ей сверток.

Ну, конечно, снова нежные речи – дескать, вставай, Гриша, пролежни пролежишь.

И опять слезы от счастья и медовый месяц.

И вот длится эта дискуссия два месяца по новому стилю.

Но только однажды приходит молодая, красивая супруга без свертка и вроде – рыдает.

– О чем, – говорю, – рыдаете, не потеряли ли свертка, обороны Создатель?

– Да нет, – говорит, – что значит сверток? Уволили меня по сокращению.

– Да что вы, – говорю, – помилуйте!

– Да, – говорит.

– Позвольте, – говорю, – я от вас приданого не требую, но, – говорю, – я на службу ориентировался.

А молодая супруга неутешна.

– Да, – говорит, – уволили, как замужнюю.

– Помилуйте, – говорю, – да я сам на вашу службу пойду, объяснюсь. Это немыслимо.

И вот надел я поскорее штаны и вышел.

Прихожу. Заведующий – этакий старый революционер с бородкой.

Я ему, подлецу, объясняю всю подноготную, а он уперся и говорит: ничего не знаю. Я ему про приданое, а он говорит – в семейные дела не касаюсь.

Я говорю:

– Я тоже старый революционер, с пятого года.

А он из помещения просит честию.

Попрощался с ним и – домой. Прихожу. Супруга сидит и не плачет.

– Что ж, – говорю, – плакать перестали! Я, – говорю, – на вас женился, а вы сокращаетесь?

Беру ее за руку, и идем к мамаше.

– Спасибо, – говорю, – за одолжение. Думаете, дюжину ложек дали, и баста?

Ну, старушка, божий цветочек, – в слезы. И папаша, старый революционер, прослезился.

– Все, – говорит, – от Бога. Может, – говорит, – и так проживете.

Хотел я папашке за это по роже съездить, да воздержался. Еще, думаю, в суд, стерва, подаст.

Плюнул я другу в жилетку и вышел...

А теперь я развелся и ищу невесту...

1923

Неизвестный друг

Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Охте. И жил хорошо. Богато. Хозяйство, и гардероб, и сундуки, полные добра... Было у него даже два самовара. А утюгов и не счесть – штук пятнадцать.

Но при всем таком богатстве жил человек скучновато. Сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался. Боялся из дома выходить, в смысле кражи. Даже в кинематограф не ходил. А то, думает, в его отсутствие разворуют вещички.

Ну а однажды получил Петр Петрович письмо по почте. Письмо секретное. Без подписи. Пишет кто-то:

«Эх, ты, – пишет, – старый хрен, степа – валеный сапог. Живешь ты с молодой супругой и не видишь, чего вокруг делается. Жена-то твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем. Как я есть твой неизвестный друг и все такое, то сообщаю: ежели ты, старый хрен, придешь в Сад трудящихся в семь часов вечера в субботу, двадцать девятого июля, то глазами удостоверишься, какая есть твоя супруга гуляющая бабочка. Протри глаза, старый хрен.

С глубоким почтением
Неизвестный друг».

Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел. Стал вспоминать как и что. И вспомнил: получила Катерина Васильевна два письма, а от кого – не сказала. И вообще вела себя подозрительно: к мамаше зачастила и денег требовала на мелкие расходы.

«Ну клюква! – подумал Петр Петрович. – Пригрел я змею... Но ничего, не позволю над собой насмеяться. Выслежу, морду набью – и разговор весь».

В субботу, двадцать девятого июля, Петр Петрович сказался больным. Лег на диван и следит за супругой. А та – ничего, хозяйством занимается. Но к вечеру говорит:

– Мне, – говорит, – Петр Петрович, нужно к мамаше сходить. У меня, – говорит, – мамаша опасно захворала.

И сама нос пудрой, шляпку на затылок и пошла.

Петр Петрович поскорей оделся, взял в левую руку палку, надел калоши – и следом за женой.

Пришел в Сад трудящихся, воротничок поднял, чтоб не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит – у фонтана супруга сидит и в даль всматривается. Подошел.

– А, – говорит, – здравствуйте. Любовника ожидаете? Так-с, вам, – говорит, – Катерина Васильевна, морду набить мало...

Та в слезы.

– Ах, – говорит, – Петр Петрович, Петр Петрович! Не подумайте худого... Не хотела я вам говорить, но приходится...

И с этими словами вынимает она из рукава письмо.

А в письме, в печальных тонах, написано о том, что она, Катерина Васильевна, одна может спасти человека, который погибает и находится в жизни на краю пропасти. И этот человек умоляет прийти Катерину Васильевну в Сад трудящихся в субботу, двадцать девятого июля.

– Странно, – говорит. – Кто же пишет?

– Я не знаю, – отвечает Катерина Васильевна. – Я пожалела и пришла. А какой это человек – я не знаю.

– Так-с, – говорит Петр Петрович, – пришла. А ежели пришла, так и сиди и не двигайся. Я, – говорит, – за фонтан спрячусь. Посмотрю, что за фигура. Я, – говорит, – намну ему бока.

Спрятался Петр Петрович за фонтан и сидит. А супруга напротив – бледная и еле дышит. Час проходит – никого. Еще час – опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за фонтана.

– Ну, – говорит, – не хнычьте, Катерина Васильевна. Тут, безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. Идемте домой, что ли... Нагулялись... Не ваш ли братец-подлец подшутил?

Покачала головой Катерина Васильевна.

– Нет, – говорит, – тут что-нибудь серьезное. Может, неизвестный человек испугался вас и не подошел.

Плюнул Петр Петрович, взял жену под руку и пошел.

И вот приезжают супруги домой. А дома – разгром. Сундуки и комоды разворочены, утюги раскиданы, самоваров нет – грабеж. А на стене булавкой пришпилена записка:

«Вас, чертей собачьих, иначе никаким каком из дома не вытащишь. Сидят, как сычи... А костюмчики твои, старый хрен, не по росту мне. Рост у тебя, старый хрен, паршивый и низенький. Это довольно подло с твоей стороны. А супруге твоей – наше нижайшее с кисточкой и с огурцом пятнадцать».

Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут, как маленькие.

1923

Агитатор

Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.

– Ну что ж, товарищ Косоносов, – говорили ему приятели перед отъездом, – поедете, так уж вы, того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается... Может, мужички на аэроплан сложатся.

– Это будьте уверены, – говорил Косоносов, – поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу.

В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в Совет.

– Вот, – сказал он, – желаю поагитировать. Как я есть приехавши из города, так нельзя ли собрание собрать?

– Что ж, – сказал председатель, – валяйте, завтра соберу мужичков.

На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая.

Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом:

– Так вот, этого... – сказал Косоносов, – авиация, товарищи крестьяне... Как вы есть народ, конечно, темный, то, этого, про политику скажу... Тут, скажем, Германия, а тут Китай. Тут Россия, а тут... вообще...

– Это ты про что, милый? – не поняли мужички.

– Про что? – обиделся Косоносов. – Про авиацию я. Развивается, этого, авиация... Тут Россия, а тут Китай.

Мужички слушали мрачно.

– Не задерживай! – крикнул кто-то сзади.

– Я не задерживаю, – сказал Косоносов. – Я про авиацию... Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю...

– Непонятно! – крикнул председатель. – Вы, товарищ, ближе к массам...

Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал:

– Так вот, этого, товарищи крестьяне... Строят еропланы и летают после. По воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится – бабахнет вниз. Как это летчик товарищ Ермилкин. Взлететь взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь...

– Не птица ведь, – сказали мужики.

– Я же и говорю, – обрадовался Косоносов поддержке, – известно – не птица. Птица – та упадет, ей хоть бы хрен – отряхнулась и дальше... А тут накось, выкуси... Другой тоже летчик, товарищ Михаил Иванович Попков. Полетел, все честь честью, бац – в моторе порча... Как бабахнет...

– Ну? – спросили мужики.

– Ей-богу... А то один на деревья сверзился. И висит, что маленький. Испужался, блажит, умора... Разные бывают случаи... А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик – и на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо –

разобрать невозможно... Собаки тоже, бывает, попадают.

– И лошади? – спросили мужики. – Неужто и лошади, родимый, попадают?

– И лошади, – сказал Косоносов. – Очень просто.

– Ишь черти, вред им в ухо, – сказал кто-то. – До чего додумались! Лошадей крошить... И что ж, милый, развивается это?

– Я же и говорю, – сказал Косоносов, – развивается, товарищи крестьяне... Вы, этого, соберитесь миром и жертвуйте.

– Это на что же, милый, жертвовать? – спросили мужики.

– На ероплан, – сказал Косоносов.

Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.

1923

Баба

Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое – муж и жена. Самогонщики.

– Так как же, – спрашивает судья, – значит, вы, обвиняемый, не признаете себя виноватым?

– Нету, – говорит подсудимый, – не признаю... Она во всем виновата. Она пуцай и расплачивается. Я ничего не знаю про это...

– Позвольте, – удивляется судья, – как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете. Не знаете даже, чем занимается ваша жена.

– Не знаю, гражданин судья... Она во всем...

– Странно, – говорит судья. – Подсудимая, что вы скажете?

– Верно уж, начальник судья, верно... Я во всем виновата... Меня и казните... Он не касается...

– Гражданка, – говорит судья, – если вы хотите выгородить своего мужа, то напрасно. Суд все равно разберет... Вы только задерживаете дело... Вы сами посудите: не могу же я вам поверить, что муж живет в одной квартире и ничего не знает... Что, вы не живете с ним, что ли?

Подсудимая молчит. Муж радостно кивает головой.

– Не живу я с ней, – говорит он, – вот именно: не живу. Некоторые думают, что я живу, а я нет... Она во всем вино-

вата...

– Верно это? – спрашивает судья у подсудимой.

– Уж верно... Меня одну казните, он не причастен.

– Вот как? – говорит судья. – Не живете... Что ж вы, характером не сошлись?

Подсудимый кивает головой.

– Характером, гражданин судья, и вообще... Она и старше меня, и...

– То есть как это старше? – спрашивает подсудимая. – Ровесники мы с ним, гражданин судья... На месяц-то всего я и старше.

– Это верно, – говорит подсудимый, – на месяц только... Это она правильно, гражданин судья... Ну, а для бабы каждый месяц, что год... В сорок-то лет...

– И нету сорока. Врет он, гражданин судья.

– Ну хоть и нету, а для бабы и тридцать девять – возраст. И волос все-таки седой к сорока-то, и вообще...

– Что вообще? – возмущается подсудимая. – Ты договаривай! Нечего меня перед народом страмить. Что вообще? Судья улыбается.

– Ничего, Марусечка... Я только так. Я говорю – вообще... и кожа уж не та, и морщинки, ежели, скажем, в сорок-то лет... Не живу я с ней, гражданин судья...

– Ах, вот как! – кричит подсудимая. – Кожа тебе не по вкусу? Морщинки тебе, морда собачья, не ндравятся? Перед народом меня страмить выдумал... Врет он, граждане судьи!

Живет он со мной, сукин сын. Живет. И самогонный аппарат сам покупал... Я ж для него, для сукиного сына, кровь порчу, спасаю его, а он вот что. Страмить... Пущай вместе казнят...

Подсудимая плачет, громко сморкаясь в платок. Подсудимый оторопело смотрит на жену. Потом с отчаянием машет рукой.

– Баба, баба и есть, чертова баба... Пущай уж, гражданин судья... Я тоже... И я виновный. Пущай уж... У-у, стерва...

Судья совещается с заседателями.

1923

Любовь

Вечеринка кончилась поздно.

Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:

– Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете... Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать можно по морозу...

– Нет, – сказала Машенька, надевая калоши. – И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?

– Так я вспотевши же, – говорил Вася, чуть не плача.

– Ну, одевайтесь!

Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.

Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.

– Ах, какая вы беспокойная дамочка, – сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. – Не будь вы, а другая – ни за что бы не пошел провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.

Машенька засмеялась.

– Вот вы смеетесь и зубки скалите, – сказал Вася, – а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю.

Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы и лежите до первого трамвая – и лягу. Ей-богу...

– Да бросьте вы, – сказала Машенька, – посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!

– Да, замечательная красота, – сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. – Действительно, очень красота... Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства... Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу... Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку – ударюсь.

– Ну, поехали, – сказала Машенька не без удовольствия.

– Ей-богу, ударюсь. Желаете?

Парочка вышла на Крюков канал.

– Ей-богу, – снова сказал Вася, – хотите вот – брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать...

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.

– Ах! – закричала Машенька. – Вася! Что вы!

Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.

– Что разорались? – тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.

Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.

— Ну, ты, мымра, — сказал человек глухим голосом. — Скидавай пальто. Да живо. А пикнешь — стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!

— Па-па-па, — сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?

— Ну! — Человек потянул за борт шубы.

Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.

— И сапоги тоже сымай! — сказал человек. — Мне и сапоги требуются.

— Па-па-па, — сказал Вася, — позвольте... мороз...

— Ну!

— Даму не трогаете, а меня — сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном, — у ей и шуба и калоши, а я сапоги снимай.

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:

— С ее снимешь, понесешь узлом — и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.

— У ей и шуба, — снова сказал Вася, — и калоши, а я отдувайся за всех...

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:

— Сиди и не двигайся и зубами не колоти. А ежели крик-

нешь или двинешься – пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка...

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках.

– Дождались, – сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. – Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?

Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:

– Караул! Грабят!

Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.

Жених

На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще повезло человеку.

Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом – никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из Местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.

Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он невероятно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.

Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрасивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха.

– Так как же ты, Егорка, сватался-то? – спрашивали мужики, подмигивая.

– Да так уж, – говорил Егорка, – обмишурился.

– Заторопился, что ли?

– Заторопился, – говорил Егорка. – Время было, конечно, горячее – тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтра ей хуже. Мечется, и бредит, и с печки падает.

– Ну, – говорю я ей, – спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потер-

пите, – говорю, – до осени, а осенью помирайте.

А она отмахивается.

Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:

– Медицина, – говорит, – бессильна что-либо предпринять. Не иначе, как помирает ваша бабочка.

– От какой же, – спрашиваю, – болезни? Извините за нескромный вопрос.

– Это, – говорит, – медицине опять-таки неизвестно.

Дал все-таки лекарь порошки и уехал.

Положили мы порошки за образа – не помогает. Брендит баба, и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.

Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее – тут и носить, тут и косить, а без бабы немыслимо. Чего делать – неизвестно. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.

Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.

Приезжаю в Местечко. Хожу по знакомым.

– Время, – говорю, – горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, – говорю, – среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, – говорю, – женитьбой.

– Есть, – говорят, – конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, – говорят, – к Анисье, к сол-

датке, может, ту обломаете.

Вот я и пошел.

Прихожу. Смотрю – сидит на сундуке баба и ногу чешет.

– Здравствуйте, – говорю. – Перестаньте, – говорю, – чесать ногу – дело есть.

– Это, – отвечает, – одно другому не мешает.

– Ну, – говорю, – время горячее, спорить с вами много не приходится, вы да я – нас двое, третьего не требуется, окрутимся, – говорю, – и завтра выходите на работу снопы вязать.

– Можно, – говорит, – если вы мной интересуетесь.

Посмотрел я на нее. Вижу – бабочка ничего, что надо, плотная и работать может.

– Да, – говорю, – интересуюсь, конечно. Но, – говорю, – ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?

– А лет, – отвечает, – не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать – не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.

– Ну, – говорю, – время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно.

– Нет, – говорит, – не вру, за вранье Бог накажет. Собираться, что ли?

– Да, – говорю, – собирайтесь. А много ли имеете вещичек?

– Вещичек, – говорит, – не так много: дыра в кармане да вошь на аркане. Сундучок да перина.

Взяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали.

Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и планы решает – как жить будет да чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить – три года не хожено.

Наконец приехали.

– Вылезайте, – говорю.

Вылезает бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает – боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу-ты, думаю, глупость какая!

– Что вы, – говорю, – бабочка, вроде бы хромаете?

– Да нет, – говорит, – это я так, кокетничаю.

– Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, – говорю, – в хозяйстве хромать не требуется.

– Да нет, – говорит, – это маленько на левую ногу. Полвершка, – говорит, – всего и нехватка.

– Пол, – говорю, – вершка или вершок, – это, – говорю, – не речь. Время, – говорю, – горячее – мерить не приходится. Но, – говорю, – это немисливо. Это и воду понесете – расплескаете. Извините, – говорю, – обмишурился.

– Нет, – говорит, – дело заметано.

– Нет, – говорю, – не могу. Все, – говорю, – подходит: и мордovorот ваш мне нравится, и лета – одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините – промигал ногу.

Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор.

Съездила она мне раз или два по морде – не считал, а после и говорит:

– Ну, – говорит, – стручок, твое счастье, что заметил. Вези, – говорит, – назад.

Сели мы в телегу и поехали.

Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.

«Время, – думаю, – горячее, разговаривать много не приходится, а тут извольте развозить невест по домам».

Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку – и к лесу.

А на этом дело кончилось.

Как она дошла домой с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.

Счастье

Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: ну, как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое.

С тех пор как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю.

Иные шуточкой на это отделяваются – дескать, живу – хлеб жую. Иные врать начинают – дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен.

И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный. И с бородой.

– Счастье-то? – спросил он меня. – А как же, обязательно счастье было.

– Ну, и что же, – спросил я, – большое счастье было?

– Да уж большое оно или оно маленькое – неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось.

Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать.

– А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или

двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дите родила. И как жена в свое время скончалась. И как дите тоже скончалось. Все шло тихо и гладко. И особенного счастья в этом не было.

Ну, а раз, 27 ноября, вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю. Сижу и пью с блюдечка. И думаю: вот, дескать, года идут своим чередом, а счастья-то и незаметно.

И только я так подумал – слышу разные возгласы. Оборачиваюсь – хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не позволяет сесть.

– Нету, – кричит, – вашему брату солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый.

А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает.

– Я, – кричит, – такой же, как и вы. Желаю за столик присесть.

Ну, посетители помогли – выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стек-

ло. И теку.

А стекло зеркальное – четыре на три, и цены ему нету.

У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.

– Что ж это, – кричит, – граждане! Разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье – два дня без стекла. Стекольщика враз не найти, и без стекла посетители обижаются.

А посетители, действительно, обижаются:

– Дует, – говорят, – из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвон дыра какая.

Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкою чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину.

– Я, – говорю, – любезный коммерсант, стекольщик.

Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает:

– А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?

– Нету, – говорю, – любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на три. А цена тому зеркальному стеклу будет семьдесят пять целковых и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.

– Что ты, – говорит хозяин, – объелся? Садись, – говорит, – обратно за столик и пей чай. За такую, – говорит, – сумму я лучше периной заткну отверстие.

И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.

И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются – дескать, темно и некрасиво чай пить.

А один, спасибо, встает и говорит:

– Я, – говорит, – на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?

Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги.

Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал.

Прибегаю в стекольный магазин – магазин закрывается. Умоляю и прошу – впустили.

И все, как я и думал, и даже лучше: стекло четыре на три тридцать пять рублей, за переноску – пять, итого сорок.

И вот стекло вставлено.

Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после – рататуй. Съедаю все и, шатаюсь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь – на них пей, хочешь – на что хочешь.

Эх, и пил же я тогда. Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.

Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьешко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ров-

но, и большого счастья не было.

Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне.

Я с завистью посмотрел на своего дорогого друга. В моей жизни такого счастья не было.

Впрочем, может, я не заметил.

1924

Не надо иметь родственников

Два дня Тимофей Васильевич разыскивал своего племянника, Серегу Власова. А на третий день, перед самым отъездом, нашел. В трамвае встретил.

Сел Тимофей Васильевич в трамвай, вынул гривенник, хотел подать кондуктору, только глядит – что такое? Личность кондуктора будто очень знакомая. Посмотрел Тимофей Васильевич – да! Так и есть – Серега Власов собственной персоной в трамвайных кондукторах.

– Ну! – закричал Тимофей Васильевич. – Серега! Ты ли это, друг ситный?

Кондуктор сконфузился, поправил, без всякой видимой нужды, катушки с билетиками и сказал:

– Сейчас, дядя... билеты додам только.

– Ладно! Можно, – радостно сказал дядя. – Я обожду.

Тимофей Васильевич засмеялся и стал объяснять пассажирам:

– Это он мне родной родственник, Серега Власов. Брата Петра сын... Я его семь лет не видел... сукинова сына...

Тимофей Васильевич с радостью посмотрел на племянника и закричал ему:

– А я тебя, Серега, друг ситный, два дня ищу. По городу роюсь. А ты вон где! Кондуктором. А я и по адресу ходил. На Разночинную улицу. Нету, отвечают. Мол, выбыл с адреса.

Куда, отвечаю, выбыл, ответьте, говорю, мне. Я его родной родственник. Не знаем, говорят... А ты вон где – кондуктором, что ли?

– Кондуктором, – тихо ответил племянник.

Пассажиры стали с любопытством рассматривать родственника. Дядя счастливо смеялся и с любовью смотрел на племянника, а племянник явно конфузился и, чувствуя себя при исполнении служебных обязанностей, не знал, что ему говорить и как вести себя с дядей.

– Так, – снова сказал дядя, – кондуктором, значит. На трамвайной линии?

– Кондуктором...

– Скажи какой случай! А я, Серега, друг ситный, сел в трамвай, гляжу – что такое? Обличность будто у кондуктора чересчур знакомая. А это ты. Ах, твою семь-восемь!.. Ну, я же рад... Ну, я же доволен...

Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал:

– Платить, дядя, нужно. Билет взять... Далеко ли вам?

Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке.

– Заплатил бы! Ей-богу! Сядь я на другой номер или, может быть, вагон пропусти – и баста – заплатил бы. Плакали бы мои денежки. Ах, твою семь-восемь!.. А я еду, Серега, друг ситный, до вокзалу.

– Две станции, – уныло сказал кондуктор, глядя в сторону.

– Нет, ты это что? – удивился Тимофей Васильевич. – Ты

это чего, ты правду?

— Платить, дядя, надо, — тихо сказал кондуктор. — Две станции... Потому как нельзя дарма, без билетов, ехать...

Тимофей Васильевич обиженно сжал губы и сурово посмотрел на племянника.

— Ты это что же — с родного дяди? Дядю грабишь?

Кондуктор тоскливо посмотрел в окно.

— Мародерствуешь, — сердито сказал дядя. — Я тебя, сукинова сына, семь лет не видел, а ты чего это? Деньги требовал за проезд. С родного дяди? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами.

Тимофей Васильевич повертел гривенник в руке и сунул его в карман.

— Что же это, братцы, такое? — обратился Тимофей Васильевич к публике. — С родного дядю требует. Две, говорит, станции... А?

— Платить надо, — чуть не плача сказал племянник. — Вы, товарищ дядя, не сердитесь. Потому как не мой здесь трамвай. А государственный трамвай. Народный.

— Народный, — сказал дядя, — меня это не касается. Мог бы ты, сукин сын, родного дядю уважить. Мол, спрячьте, дядя, ваш трудовой гривенник. Езжайте на здоровье. И не развалится от того трамвай. Я в поезде давеча ехал... Не родной кондуктор, а и тот говорит: пожалуйста, говорит, Тимофей Васильевич, что за счета... Так садитесь... И довез... не

родной... Только земляк знакомый. А ты это что – родного дядю... Не будет тебе денег.

Кондуктор вытер лоб рукавом и вдруг позвонил.

– Сойдите, товарищ дядя, – официально сказал племянник.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, Тимофей Васильевич всплеснул руками, снова вынул гривенник, потом опять спрятал.

– Нет, – сказал, – не могу! Не могу тебе, сопляку, заплатить. Лучше пушай сойду.

Тимофей Васильевич торжественно и возмущенно встал и направился к выходу. Потом обернулся.

– Дядю... родного дядю гонишь, – с яростью сказал Тимофей Васильевич. – Да я тебя, сопляка... Я тебя, сукинова сына... Я тебя расстрелять за это могу. У меня много концов...

Тимофей Васильевич уничтожающе посмотрел на племянника и сошел с трамвая.

1924

Крестьянский самородок

Фамилию этого самородка и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется – Овчинников. А имя у него было простое – Иван Филиппович.

Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.

Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или газетку.

– Хотя бы одну штуковину напечатали, – говорил Иван Филиппович. – Охота посмотреть, как это выглядит в печати.

Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:

– К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склонность, прямо скажу, сыздетства. Сыздетства чувствую красоту и природу... Бывало, другие ребята хохочут, или рыбку удют, или в пятачок играют, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю... Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка... Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.

Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бы-

вает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.

– С рифмами я стихотворения не пишу, – признавался Иван Филиппович. – Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно – один черт, что с рифмой, что и без рифмы.

Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил – не брали...

Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:

– Ну как? Не берут?

– Не берут, Иван Филиппович.

– Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать, в происхождении моем сомневаются? То пушай не сомневаются – чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были – все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-богу. Бывало, даже смех кругом стоит: «Да чего вы, – говорят, – Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других...» – «Нету, – говорим, – знаем, что делаем». Ей-богу, уважаемый товарищ. Пушай не сомневаются...

– Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.

– Ну, это уж они тово, – возмущался Иван Филиппович. –

Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись... Как это не созвучные, раз я сыздетства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка... За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пущай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пущай хотя одну штуковину возьмут.

Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца.

Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.

И наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, черт ее разберет, я окончательно сдал.

– Ага, – сказал я, – поэмку принесли?

– Поэмку принес, – добродушно подтвердил Иван Филиппович, – очень сильная поэмка вышла... Два дня писал... Как прорвало. Удержу нет...

– С чего бы это?

– Да уж не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Вдохновенье...

– Вдохновенье! – сказал я. – Стишки пишешь... Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы...

Иван Филиппович оживился и просиял:

– Дайте, – сказал он. – Если есть, дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну.

Хотя бы какую работишку найти...

– То есть как? – удивился я. – А поэзия?

– Какая поэзия, – сказал Иван Филиппович тараканьим голосом. – Жрать надо... Поэзия!.. Не только поэзия, я, уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти... Поэзия...

Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.

А через неделю я устроил Ивана Филипповича курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.

Нынче, хотя безработицы нету, ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики – поэт от станка. Он откровенно говорит: «Хочу, знаете, к своему скромному канцелярскому заработку немножко подработать на этой самой поэзии».

1924

Честный гражданин

(письмо в милицию)

Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира № 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданка Гусева и дерет окромя того с трудящихся три шкуры. А когда, например, нетути денег или вообще нехватка хушь бы одной копейки, то в долг нипочем не доверяет и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихает в спину.

А еще сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира № 8 тоже, без сомнения, подозрительна по самогону, в какой-то вкладывают для скусу, что ли, опенки или, может быть, пельсинные корки, отчего блюешь сверх нормы. А в долг, конечно, тоже не доверяют. Хушь плачь!

А сама вредная гражданка заставляет ждать потребителя на кухне и в помещение, чисто ли варят, не впускает, а в кухне ихняя собачонка, системы пудель, набрасывается на потребителя и рвет ноги. Эта пудель, холера ей в бок, и мене ухватила за ноги. А когда я размахнулся посудой, чтоб эту пудель, конечно, ударить, то хозяйка тую посуду вырвала у меня из рук и кричит:

— На, — говорит, — идол, обратно деньги. Не будет тебе товару, ежели ты бессловесную животную посудой мучаешь.

А я, если на то пошло, эту пудель не мучил, а размахивался посудой.

— Что вы, — говорю, — вредная гражданка! Я, — говорю, — не трогал вашу пудель. Возьмите свои слова обратно. — Я говорю: — Недопустимо, чтоб пудель рвал ноги. За что боролись?

А гражданка выкинула мне деньги взад, каковые и упали у плиты. Деньги лежат у плиты, а ихняя пудель насуслила их и не подпускает. Хушь плачь.

Тогда я, действительно, не отрицаю, пихнул животную ногой и схватил деньги, среди каковых один рубль насуслил и противно взять в руки, а с другого — объедин номер, и госбанк не принимает. Хушь плачь.

Тогда я обратно, не отрицаю, пихнул пудель в грудку и поскорее вышел.

А теперича эта вредная гражданка меня в квартиру к себе не впускает и дверь все время, и когда не сунься, на цепке содержит. И еще, стерва, плюется через отверстие, если я, например, подошедши. А когда я на плевки ихние размахнулся, чтоб тоже по роже съездить или по чем попало, то она, с перепугу, что ли, дверь поскорее хлопнула и руку мне прищемила по локоть.

Я ору благим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель заливается изнутри. Даже до слез обидно. О чем имею врачебную записку и, окромя того, кровь и теперь текеть, если, например, ежедневно сдирать болячки.

А еще, окромя этих подозрительных квартир, сообщаю,

что трактир «Веселая Долина» тоже, без сомнения, подозрителен. Там меня ударили по морде и запятели в угол.

– Плати, – говорят, – собачье жало, за разбитую стопку.

А я ихнюю стопку не бил, и вообще очень-то нужно мне бить ихние стопки.

– Я, – говорю, – не бил стопку. Допустите, – говорю, – докушать бутерброть, граждане.

А они мене тащат и тащат и к бутербротю не подпускают. Дотащили до дверей и кинули. А бутерброть лежит на столе. Хушь плачь.

А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая. А когда я к Варьке подошедши, так она мной гнушается.

Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите.

Теперича еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе и против долой дурман, хоша и уволен по сокращению за правду.

А еще прошу, чтоб трактир «Веселую Долину» пока чтоб не закрывали. Как я есть еще больной и не могу двинуться. А вскоре, без сомнения, поправлюсь и двинусь. Бутерброть тоже денег стоит.

Игра природы

Конечно, не всем жить в столицах. Некоторые, например, людишки запросто живут на станции «Рыбацкий поселок».

Удобств на этой станции, конечно, меньше будет, чем в столице. Там, скажем, проспектов нету. А вышел со станции и при по шпалам. А не хочешь по шпалам – сиди всю жизнь на вокзале.

Один наш знакомый, коренной житель «Рыбацкого поселка», не выдержал однажды и пошел прогуляться. А дело было еще весной.

Так вышел он с вокзала и идет по шпалам. Весной было дело. В апреле. Перед самой Пасхой.

Идет он по шпалам. А дорога, сами знаете, какая – шпалы. А тут еще весенняя слякоть, лужи. В сторону сойти, прямо скажем, нехорошо – утонуть можно. Потому весна. Природа тает. Распускается.

Так вот идет наш знакомый вдоль линии. Идет и о чем-то размышлял. А дело, я говорю, весной было. После Пасхи. В конце апреля. Птички порхают. Чирикание такое раздается. Воздух этакий сумасшедший.

Вот идет, знаете, наш знакомый и думает, дескать, птичкам-то хорошо сверху чирикать, а пусти птичку по шпалам, небось заглохнет.

Так вот он подумал и в эту минуту оступился в сторону.

А дело, надо сказать, еще весной было. На Пасху. Мокро.

Оступился он в сторону, и попал ногой в яму, и окунулся по колено в воду.

Вынул ногу наш знакомый. Побледнел.

«Хорошо еще, – думает, – что я без барышни иду. А нуте, пусти меня с барышней – срамота. Нога, сволочь, мокрая. Капает, подштанники развязались. Штрипки висят. Сапоги второй год не чищены. Морда жуткая. Срамота!»

Очень рассердился наш знакомый.

«Ах так! – думает. – Колдобины с водой? На путях государственного строительства. Пушай, значит, шпалы гниют? И народ пушай окунается? Так и запишем».

Пришел наш знакомый домой. Разулся. И, разувшись, стал писать.

И написал небольшую обличительную заметку. И послал ее в «Красную газету». Дескать, проходя и так далее, окунулся на путях строительства, и, может быть, гниют шпалы...

Эта заметка была напечатана в конце апреля.

Вот тут-то и развернулись главные события со всей ужасной быстротой.

Пока заметку эту читали, да пока в правлении обсуждали, да пока комиссию снаряжали – прошло четырнадцать лет.

Оно, конечно, прошло меньше. Но время сейчас бурное, переходное. Каждый день за год сосчитать можно.

Одним словом, в начале июля комиссия выехала на станцию «Рыбацкий поселок» обследовать пути.

Приехали. Видят — явная ложь. Никакой воды. Напротив того — пыльно. Жара. И сухо, как в Сахаре.

Горько так комиссия про себя усмехнулась — дескать, до чего складно врут люди, и отбыла.

В начале июля появилось в газете опровержение. Дескать, явная ложь и выдумка. И вообще, дескать, никакой воды на станции не оказалось. Даже в графине.

А в правлении и сейчас думают, что наш знакомый наврал.

Пушай думают. В правоте жить легче.

1924

Пациентка

В сельскую больницу Анисья приехала за тридцать верст. Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома.

– Хирург-то принимает? – спросила она мужика, сидевшего на крыльце.

– Хирург-то? – с интересом спросил мужик. – А ты не больна ли будешь?

– Больна, – ответила Анисья.

– Я, милая, тоже больной, – сказал мужик. – Пшеном объелся... Седьмым записан.

Анисья привязала лошадь к плетню и вошла в больницу.

Больных принимал фельдшер Иван Кузьмич. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, хвалили и называли без причины хирургом.

Анисья вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула.

– Больна, что ли? – спросил Иван Кузьмич.

– Больна я, – сказала Анисья. – То есть вся насквозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо.

– С чего бы это? – равнодушно спросил фельдшер. – С каких пор?

– С осени, Иван Кузьмич. С самой осени. Осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Димитрий Наумыч приехал из

города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Димитрий Наумыч любил эти самые лепешки. Где-то, думаю, он теперь, Димитрий Наумыч-то? В городе он советский депутат...

– Позволь, бабонька, – сказал фельдшер, – ври, да не завирайся. Чем больна-то?

– Да я ж и говорю, – сказала Анисья, – стою возле стола, кручу лепешки... Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой машет. «Иди, – кричит, – Анисьюшка, иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет будто по улице с мешком и с палкой». Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги. Стою душой и лепешки мну... Бросила после лепешки, выбежала во двор. А во дворе солнце играет, играет. Воздух легкий. А налево, этак у хлева, желтый теленок стоит и хвостиком мух пугает. Взглянула я на теленка – слезы каплют. Вот, думаю, Димитрий Наумыч-то обрадуется этому самому желтому теленку...

– Позволь, – хмуро сказал фельдшер, – ты дело говори.

– Я ж и говорю, батюшка Иван Кузьмич. Не сердись только. Дело я говорю... Выбежала я за ворота. Гляжу этак, знаете ли, – налево церковь, коза ходит, петух ножкой ворошит, а направо, по самой середине, гляжу – Димитрий Наумыч идет. Глянула я на него. Сердце закатилось, икота подступает. Ой, думаю, мать честная, Пресвятая Богородица! Ой, думаю, тошненько!

А он-то идет серьезным, мелким шагом. Борода по возду-

ху треплется. И платье городское на нем. И в штиблетах... Как увидела я штиблеты, будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная, гожусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский... Встала я дурой у плетня и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою. А он-то, Димитрий Наумыч, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается.

«Здравствуйте, – говорит, – Анисья Васильевна. Сколько, – говорит, – лет, сколько зим не виделись с вами...»

Мне бы, дуре, мешок у Димитрия Наумыча схватить, а я гляжу на штиблеты и не двигаюсь. Ой, думаю, отвык от меня мужик. Штиблеты носит. С городскими, может, с комсомолками разговаривает.

А Димитрий Наумыч отвечает басом: «Ох, – говорит, – какая ты есть. Темная, – говорит, – ты у меня, Анисья Васильевна. Про что, – говорит, – я с тобой теперь разговаривать буду? Я, – говорит, – человек просвещенный и депутат советский. Я, – говорит, – может, четыре правила арифметики знаю. Дробь, – говорит, – умею... А ты, – говорит, – вон какая! Небось, – говорит, – и фамилию не можешь подписывать на бумаге? Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность».

А я стою у плетня и лепечу слова: дескать, конечно, Димитрий Наумыч, бросьте меня такую-то, что вам стоит. А он берет меня за ручку и отвечает: «Я шутку пошутил, Анисья

Васильевна. Оставьте думать. Я, – говорит, – это так. Что вы...»

Снова закатилось у меня сердце, икота подступает. «Я, – говорю, – Дмитрий Наумыч, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила. Или фамилию на бумаге подписывать. Я, – говорю, – не осрамлю вас, образованного...»

Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате.

– Ну-ну, – сказал он, – хватит, завралась... Чем болеешь-то?

– Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегче будто стало теперь. На здоровье не могу пожаловаться... А он-то, Дмитрий Наумыч, говорит: «Пошутил, – говорит, – я». Вроде как, значит, шутку он выразил.

– Ну да, пошутил, – сказал фельдшер. – Конечно, пошутил... Порошков, может, тебе дать?

– А не надо, – сказала Анисья. – Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне, конечно, теперь сильно полегчало. Чувствительно спасибо. Досвиданьице.

И Анисья, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась.

– Дробь-то мне, Иван Кузьмич... Где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? К учителю, что ли, мне ехать?

– К учителю, – сказал фельдшер, вздыхая, – конечно, к учителю. Медицины это не касается.

Анисья низко поклонилась и вышла на улицу.

1924

Баня

Говорят, граждане, в Америке бани отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет – мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

– Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают – стираное и глаженое. Портянки, небось, белее снега. Подштанники зашиты, заплатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку) – дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать – некуда. Карманов нету. Кругом – живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье?

Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпускает.

– Ты что ж это, – говорит, – чужие шайки воруюшь? Как ляпну, – говорит, – тебе шайкой между глаз – не зарадуешь-ся.

Я говорю:

– Не царский, – говорю, – режим шайками ляпать. Эгоизм, – говорю, – какой. Надо же, – говорю, – и другим помыться. Не в театре, – говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, – думаю, – над его душой. Теперича, – думаю, – он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался – не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться – какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся – опять грязный.

Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки – мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трещь. Грех один.

«Ну их, – думаю, – в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу – все мое, штаны не мои.

– Граждане, – говорю. – На моих тут дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:

– Мы, – говорит, – за дырками не приставлены. Не в театре, – говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают – номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок – нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку – не хочет.

– По веревке, – говорит, – не выдаю. Это, – говорит, – каждый гражданин настрижет веревок – полът не напасешься. Обожди, – говорит, – когда публика разойдется – выдам, какое останется.

Я говорю:

– Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, – говорю. – Выдай, – говорю, – по приметам. Один, – говорю, – карман рванный, другого нету. Что касемо пуговиц, то, – говорю, – верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впускают.

– Раздевайтесь, – говорят.

Я говорю:

– Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, – говорю. – Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают – не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.

1924

Нервные люди

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттапали.

Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается.

Она думает: «С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем!»

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, че-

го взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, — отвечает, — подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, — говорит, — до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, — говорит, — ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, — говорит, — покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, — говорит, — на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум, и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жены, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, — говорит, — за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухня, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по хану смазать – троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду – с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

– Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

– Пушай, – говорит, – нога пропадает! А только, – говорит, – не могу я теперича уйти. Мне, – говорит, – сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид – брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

– Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался.

Бросился по своим комнатам.

«Вот те, – думают, – клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?»

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид

Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался – прописал ижицу.

1924

Хозрасчет

На праздниках бухгалтер Горюшкин устроил у себя званый обед. Приглашенных было немного.

Хозяин с каким-то радостным воплем встречал гостей в прихожей, помогал снимать шубы и волочил приглашенных в гостиную.

– Вот, – говорил он, представляя гостя своей жене, – вот мой лучший друг и сослуживец.

Потом, показывая на своего сына, говорил:

– А это, обратите внимание, балбес мой... Лешка. Развита-тая бестия, я вам доложу.

Лешка высовывал свой язык, и гость, слегка сконфуженный, присаживался к столу.

Когда собрались все, хозяин, с несколько торжественным видом, пригласил к столу.

– Присаживайтесь, – говорил он радушно. – Присаживайтесь. Кушайте на здоровье... Очень рад... Угощайтесь.

Гости дружно застучали ложками.

– Да-с, – после некоторого молчания сказал хозяин, – все, знаете ли, дорогонько стало. За что ни возьмись – кусается. Червонец скачет, цены скачут.

– Приступу нет, – сказала жена, печально глотая суп.

– Ей-богу, – сказал хозяин, – прямо-таки нету приступу. Вот возьмите такой пустяк – суп. Дрянь. Ерунда. Вода вроде

бы. А нуте-ка, прикиньте, чего эта водица стоит?

– М-да, – неопределенно сказали гости.

– В самом деле, – сказал хозяин. – Возьмите другое – соль. Дряннь продукт, ерунда сушая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, чего это стоит.

– Да-а, – сказал балбес Лешка, гримасничая, – другой гость как начнет солить, тык тока держись.

Молодой человек в пенсне, перед тем посоливший суп, испуганно отодвинул солонку от своего прибора.

– Солите, солите, батюшка, – сказала хозяйка, придвигая солонку.

Гости напряженно молчали. Хозяин со вкусом ел суп, добродушно поглядывая на своих гостей.

– А вот и второе подали, – объявил он оживленно. – Вот, господа, возьмите второе – мясо. А теперь позвольте спросить, какая цена этому мясу? Нуте-ка? Сколько тут фунтов?

– Четыре пять осьмых, – грустно сообщила жена.

– Будем считать пять для ровного счета, – сказал хозяин. – Нуте-ка, по полтиннику золотом? Это, это на человека придется... сколько нас человек?...

– Восемь, – подсчитал Лешка.

– Восемь, – сказал хозяин. – По полфунта... По четвертаку с носа минимум.

– Да-а, – обиженно сказал Лешка, – другой гость мясо с горчицей жрет.

– В самом деле, – вскричал хозяин, добродушно засмеяв-

шись, — я и забыл — горчица... Нуте-ка, прикиньте к общему счету горчицу, то, другое, третье. По рублю и набежит...

— Да-а, по рублю, — сказал Лешка, — а небось, когда Пал Елисеевич локтем стеклище выпер, тык небось набежало...

— Ах да! — вскричал хозяин. — Приходят, представьте себе, к нам раз гости, а один, разумеется нечаянно, выбивает зеркальное стекло. Обошелся нам тогда обед. Мы нарочно подсчитали.

Хозяин углубился в воспоминания.

— А впрочем, — сказал он, — и этот обед вскочит в копеечку. Да это можно подсчитать.

Он взял карандаш и принялся высчитывать, подробно перечисляя все съеденное. Гости сидели тихо, не двигаясь, только молодой человек, неосторожно посоливший суп, по минутно снимал запотевшее пенсне и обтирал его салфеткой.

— Да-с, — сказал наконец хозяин, — рублей по пяти с хвостиком...

— А электричество? — возмущенно сказала хозяйка. — А отопление? А Марье за услуги?

Хозяин всплеснул руками и, хлопнув себя по лбу, засмеялся.

— В самом деле, — сказал он, — электричество, отопление, услуги... А помещение? Позвольте, господа, в самом деле, помещение! Нуте-ка — восемь человек, четыре квадратные сажени... По девяносто копеек за сажень... В день, значит,

три копейки... Гм... Это нужно на бумаге...

Молодой человек в пенсне заерзал на стуле и вдруг пошел в прихожую.

— Куда же вы? — закричал хозяин. — Куда же вы, голубчик, Иван Семенович?

Гость ничего не сказал и, надев чьи-то чужие калоши, вышел не прощаясь. Вслед за ним стали расходиться и остальные.

Хозяин долго еще сидел за столом с карандашом в руках, потом объявил:

— По одной пятой копейки золотом с носа.

Объявил он это жене и Лешке — гостей не было.

1924

Паутина

Вот говорят, что деньги сильнее всего на свете. Вздор. Ерунда.

Капиталисты для самооболащания все это выдумали. Есть на свете кое-что покрепче денег.

Двумя словами об этом не рассказать. Тут целый рассказ требуется.

Извольте рассказ.

Высокой квалификации токарь по металлу, Иван Борисович Левонидов, рассказал мне его.

– Да, дорогой товарищ, – сказал Левонидов, – такие дела на свете делаются, что только в книгу записывай.

Появился у нас на заводе любимчик – Егорка Драпов. Человек он арапистый. Усишки белокурые. Взгляд этакий вредный. И нос вроде перламутровой пуговицы.

А карьеру между тем делает. По службе повышается, на легкую работу назначается и жалованье получает по высшему разряду.

Мастер с ним за ручку. А раз даже, проходя мимо Егорки Драпова, мастер пощекотал его пальцами и с уважением таким ему улыбнулся.

Стали рабочие думать что и почему. И за какие личные качества повышается человек.

Думали, гадали, но не разгадали и пошли к инженеру

Фирсу.

– Вот, – говорим, – любезный отец, просим покорнейше одернуть зарвавшегося мастера. Пушай не повышает своего любимца Егорку Драпова. И пальцем пушай не щекотит, проходя мимо.

Сначала инженер, конечно, испугался – думал, что его хотят выводить на свежую воду, но после обрадовался.

– Будьте, – говорит, – товарищи, благонадежны. Зарвавшегося мастера одерну, а Егорку Драпова в другое отделение переведу.

Проходит между тем месяц. Погода стоит отличная. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А любимчик – Егорка Драпов – карьеру между тем делает все более заманчивую.

И не только теперь мастер, а и сам любимый спец с ним похохатывает и ручку ему жмет.

Ахнули рабочие. И я ахнул.

«Неужели же, – думаем, – правды на земле нету? Ведь за какие же это данные повышается человек и пальцами щекотится мастером?»

Пошли мы небольшой группой к красному директору Ивану Павловичу.

– Вы, – говорим, – который этот и тому подобное. Да за что же, – говорим, – такая несообразность?

А красный директор, нахмурившись, отвечает:

– Я, – говорит, – который этот и тому подобное. Я, – го-

ворит, — мастера и спеца возьму под ноготь, а Егорку Драпова распушу, как собачий хвост. Идите себе, братцы, не понижайте производительность.

И проходит месяц — Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду. Балуют его и милуют и ручку со всех сторон наперерыв ему жмут. И директор жмет, и спец жмет, и сам мастер, проходя мимо, щекотит Егорку Драпова.

Взвыли тут рабочие, пошли всей гурьбой к рабкору Настину. Плачутся:

— Рабкор ты наш, золото, драгоценная головушка. Ругали мы тебя, и матюкали, и язвой называли: мол, жалобы зачем в газету пишешь. А теперича, извините и простите... Выводите Егорку Драпова на свежую воду.

— Ладно, — сказал Настин. — Это мы можем, сейчас поможем. Дайте только маленечко сроку, погляжу, что и как и почему человек повышается. Хвост ему накручу — будьте покойны.

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. Птички по воздуху порхают, и бабочки крутятся.

А Егорка Драпов цветет жасмином и даже пестрой астрой распушается.

И даже рабкор Настин, проходя однажды мимо, пощекотал Егорку и дружески ему так улыбнулся.

Собрались тут рабочие обсуждать. Говорили, говорили —

языки распухли, а к результату не пришли.

И тут я, конечно, встречаю в разговор.

– Братцы, – говорю, – я, – говорю, – первый гадюку открыл, я ее и закопаю. Дайте срок.

И вдруг на другой день захожу я в Егоркино отделение и незаметно становлюсь за дверь. И вижу. Мастер домой собирается, а Егорка Драпов крутится перед ним мелким бесом и вроде как тужурку подает.

– Не застудитесь, – говорит, – Иван Саввич. Погодка-то, – говорит, – страсть неблагоприятная.

А мастер Егорку по плечу стучает и хохочет.

– А и любишь, – говорит, – ты меня, Егорка, сукин сын.

А Егорка Драпов почтительно докладывает:

– Вы, – говорит, – мне, Иван Саввич, вроде как отец родной. И мастер, – говорит, – вы отличный. И личностью, – говорит, – очень, – говорит, – вы мне покойную мамашу напоминаете, только что у ей усиков не было.

А мастер пожал Егоркину ручку и пошел себе. Только я хотел из-за двери выйти, шаг шагнул – рабкор Настин прется.

– А, – говорит, – Егорушка, друг ситный! Я, – говорит, – знаешь ли, такую давеча заметку написал – ай-люли.

А Егорка Драпов смеется.

– Да уж, – говорит, – ты богато пинешь. Пушкин, – говорит, – и Гоголь дерьмо против тебя.

– Ну спасибо, – говорит рабкор, – век тебе не забуду. Хо-

чешь, тую заметку прочту?

– Да чего ее читать, – говорит Егорка, – я, – говорит, – и так, без чтения в восхищении.

Пожали они друг другу ручки и вышли вместе. А я следом.

Навстречу красный директор прется.

– А, – говорит, – Егорка Драпов, наше вам... Ну-ка, – говорит, – погляди теперича, какие у меня мускулы.

И директор рукав свой засучил и показывает Егорке мускулы.

Нажал Егорка пальцем на мускулы.

– Ого, – говорит, – прибавилось.

– Ну спасибо, – говорит директор, – спасибо тебе, Егорка.

Тут оба-два – директор и рабкор – попрощались с Егоркой и разошлись.

Догоняю я Егорку на улице, беру его, подлеца, за руку и отвечаю:

– Так, – говорю, – любезный. Вот, – говорю, – какие паутины вы строите.

А Егорка Драпов берет меня под руку и хохочет.

– Да брось, – говорит, – милый... Охота тебе... Лучше расскажи, как живешь и как сынишка процветает.

– Дочка, – говорю, – у меня, Егорка. Не сын. Отличная, – говорю, – дочка. Бегает...

– Люблю дочек, – говорит Егорка. – Завсегда, – говорит, – люблюсь на них и игрушки им жертвую...

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду.

А вчера, проходя мимо, пощекотал я Егорку Драпова. Черт с ним. Хоть, думаю, и подлец, а приятный человек. Полюбил я Егорку Драпова.

1924

Альфонс

– Папаша мой, надо сказать, был торговцем, – сказал Иван Иванович Гусев. – При царском режиме папаша торговали в Дерябинском рынке... Ну а теперича через эту папашу мне форменная труба получается. Потому не приткнуться. Не берут в государственную службу. Что касается свободных профессий или там какого отхожего промысла, то этого тоже не горазд много.

Мне вот случилась на днях работишка, вроде отхожий промысел, – не сумел воспользоваться.

А промысел этот предложила девица одна. Кет – заглавие. Соседка. Рядом жили.

Так – ее комната, а так – моя. А перегородка тоненькая. И насквозь все слышно: и как девица домой к утру является, и как волосики свои на щипцах завивает, и как пиво пьет, и как с кавалерами на денежные темы беседует. Все насквозь слышно, только что выражения лица не видеть.

А раз утром девица встала и стучит кулаком в стенку.

– Эй, – говорит, – мон шер, нет ли у вас спичек?

– Как же-с, – отвечаю через стенку, – есть. Я, – говорю, – хотя и безработный и питаюсь не ахти как, но, – говорю, – спички есть. Взойдите.

Является. В пенюаре, в безбелье, и туфельки кокетливо надеты на босу ногу.

– Здравствуйте, – говорит. – Мне завиться нужно, а спичек-то и нет. Я, – говорит, – сейчас верну вам ваши спички.

– Да уж, – говорю, – пожалуйста. Я, – говорю, – человек безработный, без образования, мне, – говорю, – не по карману спичками швыряться.

Слово за слово – разговорились.

– На какие шиши, – спрашиваю, – живете и почему за квадратную сажень вносите?

А она на прямой вопрос не отвечает и говорит двусмысленно:

– Раз, – говорит, – вы человек безработный и голодуете, то, – говорит, – могу вам от чистого сердца работишку предложить.

– Какую же, – спрашиваю, – работишку?

– Да, – говорит, – альфонсом.

– Можно, – говорю, – объяснитесь, – говорю, – короче.

– А очень, – говорит, – просто. Ежели, – говорит, – я в ресторан одна явлюсь – мне одна цена, а ежели я с мужчиной и мужчина вроде родственника, то цена мне другая и повышается. Вот, – говорит, – мы и будем вместе ходить. Вместе придем, посидим, а после вы вроде заторопитесь: ах, дескать, Кет, у меня, может, мамаша больна, мне идти нужно. А через час придете. Ах, дескать, Кет, вот и я, не пора ли нам, Кет, домой тронуться?

– Только и всего? – спрашиваю.

– Да, – говорит. – Принарядитесь только получше. Пенсне

на нос наденьте, если есть. Сегодня мы и пойдем.

– Можно, – говорю, – работа не горазд трудная.

И вот к вечеру оделся я. Пиджак надел, свитер. Пенсне на нос прилепил – откуда-то она достала. И пошли.

Входим в ресторанное зало. Присаживаемся к столику. Я говорю:

– Дозвольте очки снять. Ни черта, с непривычки, не вижу и могу со стула упасть.

А она говорит:

– Нет. Потерпите.

Сидим. Терпим. Жрать нестерпимо хочется, а вокруг жареных курей носят, даже в носу щекотно.

А она мне шепчет в ухо:

– Пора, – говорит, – уходите.

Я встаю, двигаю нарочно стулом.

– Ах, – говорю, – Кет, я тороплюсь, вуаль-вуаля, у меня, – говорю, – может, родная мама захворала. Вы тут посидите. Я за вами приду.

А она головой кивает, дескать, ладно, катитесь.

Снял я очки и вышел на улицу.

Полчаса походил по улице, замерз как собака, губа на губу не попадает.

Возвращаюсь назад. Гляжу: сидит моя девица за столиком, палец-мизинец отодвинула и жрет что-то. А рядом буржуй к ней наклонился и шепчет в ушную раковину.

Подхожу.

– Ах, – говорю, – вот и я. Не пора ли, – говорю, – Кет, нам с вами домой тронуться?

А она:

– Нет, – говорит, – Пьер, я, – говорит, – еще посижу немного со знакомой личностью. А вы идите домой.

– Ну, – говорю, – как хотите. Я и один пойду.

Потоптался я, потоптался, а уходить неохота. И жрать к тому же хочется это ужасно как.

– Вот, – говорю, – я сейчас пойду, только, – говорю, – присяду на минуточку по-родственному и как альфонс. Замерз как собака.

Она мне глазами мигает, а мне ни к чему.

Посижу, думаю, и уйду. Не просижу, думаю, ихние стулья.

Сел и сижу. А буржуй сконфузился и перестал шептать.

Я говорю:

– Вы не стесняйтесь... Я ейный родственник, шепчитесь себе на здоровье.

А он:

– Помилуйте, – говорит, – не желаете ли портеру выкушать?

– Можно, – говорю. – Отчего, – говорю, – родственнику портеру не выпить.

Выпил я портеру и захмелел вдруг – с голоду, что ли. Принялся чью-то котлету есть.

– Не будь, – говорю, – я родственником, не стал бы я эту котлетину есть. Ну а родственнику отчего не съесть? Род-

ственнику глаз да глаз нужен.

— Помилуйте, — говорит буржуй. — Это что за намеки вы строите?

— Да нет, — говорю, — какие же намеки? Тоже, — говорю, — ихнее дамское дело, каждый обмануть норовит. Глаз да глаз нужен.

— То есть, — говорит, — как обмануть? Как понимать ваши слова?

— Да уж, — говорю, — понимайте как хотите. Мне, — говорю, — некогда объясняться. Мне торопиться надо. А уж вы, будьте любезны, расплатитесь по-настоящему с ней, без обману.

Надел я пенсне на нос, поклонился всем вежливо и вышел.

А теперича девица Кет в морду лезет.

Этак на каждый промысел и морды не напасешься.

1924

Актер

Рассказ этот – истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом актер-любитель. Вот что он рассказал.

«Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом нет выдающего.

Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего.

Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А среди публики – знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь – подмигивают с партеру – дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь – дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем. Сами с усами.

Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь.

Вот раз ставили мы пьесу „Кто виноват?“. Из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса.

Так вот поставили эту пьесу.

А перед самым спектаклем один любитель, который купца

играл, выпил. И в жаре до того его, бродягу, растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И, как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит.

Режиссер Иван Палыч мне говорит:

– Не придется, – говорит, – во втором акте его выпускать. Передавит, сукин сын, все лампочки. Может, – говорит, – ты вместо его сыграешь? Публика дура – не поймет.

Я говорю:

– Я, граждане, не могу, – говорю, – к рампе выйти. Не просите. Я, – говорю, – сейчас два арбуза съел. Неважно соображаю.

А он говорит:

– Выручай, браток. Хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, – говорит, – просветительской работы.

Все-таки упросили. Вышел я к рампе.

И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, в брюках. Только что бородавку чужую приклеил. И вышел. А публика хотя и дура, а враз узнала меня.

– А, – говорят, – Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы...

Я говорю:

– Робеть, граждане, не приходится – раз, – говорю, – критический момент. Артист, – говорю, – сильно под мухой и не может к рампе выйти. Блует.

Начали действие.

Играю я в действии купца. Кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет.

Запахнул я пиджачок. В сторону от артистов.

Отбиваюсь от них. Прямо по роже бью. Ей-богу!

– Не подходите, – говорю, – сволочи, честью прошу.

А те по ходу пьесы это насаждают и насаждают. Вынули у меня бумажник (восемнадцать червонцев) и к часам прутся.

Я кричу не своим голосом:

– Караул, дескать, граждане, всерьез грабят.

А от этого полный эффект получается. Публика-дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит:

– Давай, Вася, давай. Отбивайся, милый. Крой их, дьяволов, по башкам.

Я кричу:

– Не помогает, братцы!

И сам стегаю прямо по головам.

Вижу – один любитель кровью исходит, а другие, подлецы, в раж вошли и насаждают.

– Братцы, – кричу, – да что ж это? За какое самое это страдать-то приходится?

Режиссер тут с кулис высовывается.

– Молодец, – говорит, – Вася. Чудно, – говорит, – рольку ведешь. Давай дальше.

Вижу – крики не помогают. Потому, чего ни крикнешь – все прямо по ходу пьесы ложится.

Встал я на колени.

– Братцы, – говорю. – Режиссер, – говорю, – Иван Палыч. Не могу больше! Спускайте занавеску. Последнее, – говорю, – сбережение всерьез прут!

Тут многие театральные спецы – видят, не по пьесе слова – из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает.

– Кажись, – говорит, – граждане, действительно у купца бумажник свистнули.

Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли. Напоили.

– Братцы, – говорю. – Режиссер, – говорю, – Иван Палыч. Да что ж это, – говорю. – По ходу, – говорю, – пьесы кой-то бумажник у меня вынул.

Ну, устроили обыск у любителей. А только денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в кулисы кинул. Деньги так и сгнули. Как сгорели.

Вы говорите – искусство? Знаем! Играли!»

Кризис

Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провезли. Ей-богу!

У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости. Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь не зря же везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось – тьфу, тьфу, не сглазить!

Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина, небось, по цельной комнате будет. А ежели население шибко не увеличится и, например, всем аборт разрешат – то и по две. А то и по три на рыло. С ванной.

Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь... Мало ли! Делов-то найдется при такой свободной жизни.

Ну, а пока что трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается ввиду кризиса.

Я вот, братцы, в Москве жил. Недавно только оттуда вернулся. Испытал на себе этот кризис.

Приехал я, знаете, в Москву. Хожу с вещами по улицам. И то есть ни в какую. Не то что остановиться негде – вещей положить некуда.

Две недели, знаете, проходил по улицам с вещами – оброс бороденкой и вещи порастерял. Так, знаете, налегке и хожу

без вещей. Подыскиваю помещение.

Наконец в одном доме какой-то человечек по лестнице спускается.

— За тридцать рублей, — говорит, — могу вас устроить в ванной комнате. Квартирка, — говорит, — барская... Три уборных... Ванна... В ванной, — говорит, — и живите себе. Окон, — говорит, — хотя и нету, но зато дверь имеется. И вода под рукой. Хотите, — говорит, — напустите полную ванну воды и ныряйте себе хоть целый день.

Я говорю:

— Я, дорогой товарищ, не рыба. Я, — говорю, — не нуждаюсь нырять. Мне бы, — говорю, — на суше пожить. Сбавьте, — говорю, — немного за мокроту.

Он говорит:

— Не могу, товарищ. Рад бы, да не могу. Не от меня целиком зависит. Квартирка коммунальная. И цена у нас на ванну выработана твердая.

— Ну, что ж, — говорю, — делать? Ладно. Рвите, — говорю, — с меня тридцать и допустите, — говорю, — скорее. Три недели, — говорю, — по панели хожу. Боюсь, — говорю, — устать.

Ну, ладно. Пустили. Стал жить.

А ванна, действительно, барская. Всюду, куда ни ступишь — мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валишься, в аккурат в мраморную ванну.

Устроил тогда настил из досок, живу.

Через месяц, между прочим, женился.

Такая, знаете, молоденькая, добродушная супруга попала. Без комнаты.

Я думал, через эту ванну она от меня откажется, и не увижу я семейного счастья и уюта, но она ничего, не отказывается. Только маленько нахмурилась и отвечает:

– Что ж, – говорит, – и в ванне живут добрые люди. А в крайнем, – говорит, – случае, перегородить можно. Тут, – говорит, – к примеру, будуар, а тут столовая...

Я говорю:

– Перегородить, гражданка, можно. Да жильцы, – говорю, – дьяволы, не позволяют. Они и то говорят: никаких переделок.

Ну, ладно. Живем как есть.

Меньше чем через год у нас с супругой небольшой ребеночек рождается.

Назвали его Володькой и живем дальше. Тут же в ванне его купаем – и живем.

И даже, знаете, довольно отлично получается. Ребенок то есть ежедневно купается и совершенно не простуживается.

Одно только неудобство – по вечерам коммунальные жильцы лезут в ванную мыться.

На это время всей семьей приходится в коридор подаваться.

Я уж и то жильцов просил:

– Граждане, – говорю, – купайтесь по субботам. Нельзя

же, — говорю, — ежедневно купаться. Когда же, — говорю, — жить-то? Войдите в положение.

А их, подлецов, тридцать два человека. И все ругаются. И, в случае чего, морду грозят набить.

Ну, что ж делать — ничего не поделаешь. Живем как есть. Через некоторое время мамаша супруги моей из провинции прибывает в ванну. За колонкой устраивается.

— Я, — говорит, — давно мечтала внука качать. Вы, — говорит, — не можете мне отказать в этом развлечении.

Я говорю:

— Я и не отказываю. Валяйте, — говорю, — старушка, качайте. Пес с вами. Можете, — говорю, — воды в ванную напустить — и ныряйте с внуком.

А жене говорю:

— Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так уж вы говорите сразу, не томите.

Она говорит:

— Разве что братишка на рождественские каникулы...

Не дождавшись братишки, я из Москвы выбыл. Деньги семье высылаю по почте.

1925

Бедность

Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а? Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация.

Дело это, не спорю, громадной важности – Советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть пока что свои неважные стороны. Я не говорю, товарищи, что платить дорого. Платить недорого. Не дороже денег. Я не об этом говорю.

А вот про что.

Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего – поповской свечкой светится. Беда прямо!

А тут проводить свет стали.

Первым провел уполномоченный. Ну, провел и провел. Мужчина он тихий, вида не показывает. Но ходит все-таки странно и все время задумчиво сморкается.

Но вида еще не показывает.

А тут дорогая наша хозяйюшка Елизавета Игнатьевна Прохорова приходит раз и предлагает квартиру осветить.

– Все, – говорит, – проводят. И сам, – говорит, – уполномоченный провел.

Что ж! Стали и мы проводить.

Провели, осветили – батюшки-светы! Кругом гниль и гнусь.

То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперича зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется, тут обои отодраны и клочком торчат, тут клопы рысью бежит – от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится...

Батюшки-светы! Хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно.

Канаве, например, такое в нашей комнате стояло. Я думал, ничего себе канаве – хорошее канаве. Сидел часто на нем по вечерам. А теперича зажег электричество – батюшки-светы! Ну и ну! Ну и канаве! Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть на такое канаве – душа протестует.

Ну, думаю, не богато я живу. Противно на все глядеть. Работа из рук падает.

Вижу, и хозяйшка Елизавета Игнатьевна ходит грустная, шуршит у себя на кухне, прибирается.

– Чего, – спрашиваю, – возитесь, хозяйшка?

А она рукой машет.

– Я, – говорит, – милый человек, и не думала, что так бедновато живу.

Взглянул я на хозяйкино барахлишко – действительно, думаю, не густо: гниль и гнусь, и тряпицы разные. И все это светлым светом залито и в глаза бросается.

Стал я приходить домой вроде как скучный.

Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и ткнусь в койку.

После раздумал, получку получил, купил мелу, развел и приступил к работе. Обойки отодрал, клопов выбил, паутины смел, канapé убрал, выкрасил, раздраконил – душа поет и радуется.

Но хоть и получилось хорошо, да не дюже. Зря и напрасно я, братишечки, деньги ухлопал – отрезала хозяйка провода.

– Больно, – говорит, – бедновато выходит при свете-то. Чего, – говорит, – такую бедность освещать клопам на смех.

Я уж и просил, и доводы приводил – никак.

– Съезжай, – говорит, – с квартиры. Не желаю, – говорит, – я со светом жить. Нет у меня денег ремонты ремонтировать.

А легко ли съезжать, товарищи, если я на ремонт уйму денег ухлопал? Так и покорился.

Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом плохо.

1925

Административный восторг

Хочется рассказать про одного начальника. Очень уж глубоко интересная личность.

Оно, конечно, жалко – не помню, в каком городе эта личность существует. В свое время читал об этом начальнике небольшую заметку в харьковской газете. А насчет города – позабыл. Память дырявая. В общем, где-то около Харькова.

Ну, да это не суть важно. Пущай население само разбирается в своих героях. Небось, узнают – фамилия Дрожкин.

Так вот, извольте видеть, было это в небольшом городе. Даже, по совести говоря, не в городе, а в местечке. И было это в воскресенье.

Представьте себе – весна, весеннее солнышко играет. Природа, так сказать, пробуждается. Травка, возможно, что зеленеть начинает.

Население, конечно, высыпало на улицу. Панели шлифует.

И тут же среди населения гуляет собственной персоной помощник начальника местной милиции товарищ Дрожкин. С супругой. Прелестный ситцевый туалет. Шляпа. Зонтичек. Калоши.

И гуляют они, ну, прямо, как простые смертные. Не гнушаются. Прямо так и прут под ручку по общему тротуару.

Доперли они до угла бывшей Казначейской улицы. Вдруг

стоп. Среди, можно сказать, общего пешеходного тротуара – свинья мотается. Такая довольно крупная свинья, пудов, может быть, на семь.

И пес ее знает, откуда она забрела. Но факт, что забрела и явно нарушает общественный беспорядок.

А тут, как на грех, – товарищ Дрожкин с супругой.

Господи, твоя воля! Да, может, товарищу Дрожкину неприятно на свинью глядеть? Может, ему во внеслужебное время охота на какую-нибудь благородную часть природы поглядеть? А тут свинья. Господи, твоя воля, какие неосторожные поступки со стороны свиньи! И кто такую дрянь выпустил наружу? Это же прямо невозможно!

А главное – товарищ Дрожкин вспыльчивый был. Он сразу вскипел.

– Это, – кричит, – чья свинья? Будьте любезны ее ликвидировать.

Прохожие, известно, растерялись. Молчат.

Начальник говорит:

– Это что ж делается средь бела дня! Свиньи прохожих затирают. Шагу не дают шагнуть. Вот я ее сейчас из револьверу тяпну.

Вынимает, конечно, товарищ Дрожкин револьвер. Тут среди местной публики замешательство происходит. Некоторые, более опытные прохожие, с большим, так сказать, военным стажем, в сторону сиганули в рассуждении пули.

Только хотел начальник свинку угробить – жена вмеша-

лась. Супруга.

– Петя, – говорит, – не надо ее из револьверу бить. Сейчас, может быть, она под ворота удалится.

Муж говорит:

– Не твое гражданское дело. Замри на короткое время. Не вмешивайся в действия милиции.

В это время из-под ворот такая небольшая старушка выплывает.

Выплывает такая небольшая старушка и что-то ищет.

– Ахти, – говорит, – Господи! Да вот он где, мой кабан. Не надо его, товарищ начальник, из пистолета пужать. Сейчас я его уберу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.